
ОЛЕГ ХЛЕБНИКОВ
Заметки на биополях
Книга о замечательных людях и выпавшем пространстве
ВРЕМЯ

Диалог (Время)

Олег Хлебников

Заметки на биополях. Книга о замечательных людях и выпавшем пространстве (сборник)

«WebKniga»

2018

Хлебников О. Н.

Заметки на биополях. Книга о замечательных людях и выпавшем пространстве (сборник) / О. Н. Хлебников — «WebKniga», 2018 — (Диалог (Время))

ISBN 978-5-9691-1723-5

В книгу вошла почти мемуарная повесть «Три отца и много дядек», главы из которой публиковались в журналах «Дружба народов», «День и ночь», «Сноб», «Story», в «Новой газете». В ближайшем кругу автора были такие известные люди, как Алексей Герман, Булат Окуджава, Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, Давид Самойлов, Юрий Щекочихин, Станислав Рассадин и другие. Обо всех них – в этой повести. Словно продолжает тему воспоминаний поэма «Улица Павленко», а завершает книгу сборник эссе «Ушедшие поэты».

ISBN 978-5-9691-1723-5

© Хлебников О. Н., 2018
© WebKniga, 2018

Содержание

Три отца и много дядек. Документальная повесть 6
Культбаза 8
Первый и второй 12
Окуджава сам по себе и с хором 15
Сухуми – Мухус (Палиндром) 24
Пятимерный шар 27
Сосед Вознесенский 29
Калитка к Пастернаку 37
Верхние и нижние 39
Как горел «Огонёк» 43
Конец ознакомительного фрагмента. 44

Олег Хлебников.
Заметки на биополях

© Олег Хлебников, 2018
© «Время», 2018

* * *

Памяти Анны Саед-Шах

Анечке с любовью и благодарностью за помощь в работе над этой книгой

Три отца и много дядек. Документальная повесть

– Да у тебя было три отца! – сказал старый знакомый писатель, выслушав мои сбивчивые истории. Мне было тяжело и хотелось высказаться, говорить, говорить об ушедших близких. А мой старый знакомый умеет слушать и очень любит гиперболы. Вот и сейчас, конечно, была гипербола. И все же если принять его формулу…

Мать из моих отцов лично знала только одного. Да и то, пожалуй, не очень глубоко.

Его фотокарточку я часто держал под подушкой. Это происходило всякий раз, когда он уезжал в одну из многочисленных командировок (то была его зона свободы). Кстати, из командировок он всегда привозил мне модные одежки, каких в нашем провинциальном городе не видывали, – никогда после детства не был и не буду таким стилягой (словечко тех лет).

Сейчас его фотография в рамке стоит на пианино (недавно поставлена), на котором я никогда не играю (и совсем разучился), на ней ленточка, черная и бликующая, как само пианино.

На стенке висит фотопортрет «второго отца»: он на берегу залива, глаза (особенно один), даже сквозь толстые стекла очков, поражают острой тревогой, почти отчаянием.

А снимок «третьего отца» я еще не успел вставить в рамку – передо мной лежит. Здесь он улыбается и очень похож на артиста Демьяненко, знаменитого гайдаевского Шурика…

Почему мой знакомый назвал этих двоих людей наряду с кровным моими отцами? Наверно, из моих рассказов он понял, что обоих всерьез волновали как внешние обстоятельства моей жизни, так и внутренние, образ мыслей, блин, чего трудно ожидать от кого-то, кроме отца, а я тяжело переживал почти одновременный уход «первого» и «третьего» и все время вспоминал «второго».

Вообще-то терпеть не могу обниматься-целоваться с мужчинами (с женщинами – тоже крайне избирательно). Исключением были – эти трое. Именно потому, наверно, и отцы.

Но не буду играть в катаевский «Алмазный венец». Моего физического отца звали Никита Аверьянович, так было в метрике и в паспорте, хотя мой дед (отец отца) всю жизнь прожил Валерьяном. «Второй» – поэт Давид Самойлов. «Третий» – литературовед и писатель Станислав Рассадин.

…С Самойлычем я наконец (давно хотел) познакомился только за десять лет до его смерти и жил у него почти три года. Сейчас понимаю: это были очень счастливые годы. Этот его дом открытых дверей, хотя и квартира… Но я, конечно, открывал дверь своим ключом. И всякий раз, когда возвращался с работы, из журнала, он шел к дверям меня встречать. Шел буквально с распростертыми объятьями. Это при его полуслепоте могло показаться чуть ли не мерой предосторожности от невидимых препятствий (да и, в общем, одно невидимое препятствие действительно было – уходящее время его жизни).

Часто, уже приобняв меня в коридоре, он лукаво и при этом значительно шептал на ухо: «К нам пришел хороший человек!» Это означало, что к нему, знаменитому поэту, пришел очередной рифмоплет, но не только со своими виршами, но и с бутылкой коньяка. Иногда он говорил: «К нам пришел очень хороший человек!», что значило: рифмоплет принес две бутылки коньяка. Фраза «К нам пришел странный человек» характеризовала появление совершенно пустого (без спиртных напитков в том числе) графомана…

Но я перескочил: все-таки первым, кто меня обнимал-целовал, был мой кровный отец, папка. В раннем детстве он целовал мне даже пятки (то ли помню, то ли рассказали). И это несмотря на то что сам вырос в суровой староверской семье, где его отец, мой дед, похожий на актера Бабочкина в роли Чапаева, называл единственного сына (остальные сыновья не выжили – только две дочери) не иначе как Парень – никогда по имени.

В детстве, пришедшемся на войну, Парень голодал, ел крапиву и щавель. После войны еще подростком начал работать. Окончил художественное училище. В свободное от работы время малевал. Потом поступил «на инженера» – на вечернее. Мама рассказывала, что тогда он научился спать в трамваях и автобусах стоя. И, что сейчас непредставимо (время было уже хрущевское), еще не окончив институт, стал главным технологом завода. Конечно, оборонного – в нашем городе почти все были оборонные. Потом он слетал с высоких должностей, поругавшись с начальством, и поднимался снова. И опять – слетал, к ужасу мамы…

Кстати, маму он взял нахрапом – даже бил морду собственному преподавателю, которого заподозрил в излишнем к ней внимании. Причем произошло это безобразие накануне экзамена, который Парень должен был сдавать тому самому поклоннику матери. Ничего, сдал.

А еще вдвоем (!) с мамой (и она на этом надорвалась) он построил пасеку у черта на рогах – на ней потом и сгорели все его рисунки и картины. Но к этому Парень отнесся философски – сидя по выходным в двухкомнатной хрущобе (ничего другого от завода и государства не получил), мастерил шкатулки и дарил родственникам и знакомым.

Культбаза

Первый засвидетельствованный родителями проблеск моего сознания относится к 1957 году. Но запомнил я тогда не спутник (тоже первый), а свою прабабушку. Она на три четверти появилась из подпола, где жила (остальную территорию занимали, ютясь, дед с бабкой и многочисленное семейство их дочки, тети Гали), – появилась посмотреть на меня, погладить по голове и похвалить: «Сколь бел да басок!» Сама прабабушка была чернявая, маленькая, темная лицом и очень добрая. Я был не столько бел, сколько скудноволос, большеголов и совсем даже не красив (не «басок») – похож в соответствии с краткой модой времени на Хрущева. Впрочем, мне тогда только исполнился год.

А прабабушка спустилась обратно в подпол, откуда сладко пахло керогазом, и навсегда исчезла из моей жизни, способа существования данного мне в аренду белкового тела, на которое сам я в детстве очень удивлялся – еще не привык.

Помню, подолгу рассматривал свою руку – неужели это вот и есть я, это вот моя рука (?!), и другой левой руки у меня уже никогда не будет (?!), – мой старый знакомый говорит, что так же удивлялся именно на свою руку Вольтер, не знаю, не читал, – и я ограничен этой вот белой кожей на руке и остальном, и отделен ею от всего мира, и я, я, я, что за дикое слово, но Ходасевича прочитал, конечно, много позже… Словом, удивлялся и привыкал.

А что касается Хрущева, его наряду с Райкиным я всегда с удовольствием слушал по радио и позже смотрел по телевизору – даже мне, дошкольнику, было интересно и смешно. Радио – клетчатое и ворсистое – я слушал, лежа на диване с валиками, а телевизор у нас появился в числе первых на улице Коммунаров – «Рекорд» без линзы (!). Его приходили смотреть соседи, зимой оставляя у впускавшей морозный пар двери огромные несгибаемые валенки.

Но прабабушка, которая появилась и исчезла, жила на другой улице, в районе под названием Культбаза, что переводилось как «Культурная база», а вовсе не база культа личности, хотя из всей мировой культуры там были только дощатый летний кинотеатр да один крашено-кирпичный продуктовый магазин, пахший селедкой и лакированными резиновыми сапогами.

Зато там, на Культбазе, можно было почувствовать себя индейцем, поскольку по улицам свободно гуляли куры, а из ивы, растущей вдоль берега (прямо за домами) речки Карлудки (в народе – Говенки), легко было сделать лук. Там, на высоком берегу этой речки, хорошо было сидеть в траве, думать и сочинять стихи:

Над рекой игривой,
Головы склоня,
Тихо плачут ивы
Каплями дождя…

Склоня – дождя, конечно, плохая рифма, но ведь и у Фета в одном из лучших четверостиший русской поэзии рифмуются «огня – уходя», и ничего, значит, дело не в рифме.

…Потом, вслед за прабабушкой, в моем способе существования появилось и исчезло много людей – некоторых из них знает весь мир, некоторых – вся страна, кого-то – продвинутые читатели и зрители, кого-то – только родственники и друзья.

А живших на Культбазе деда с бабушкой со стороны отца Парня, а также сестру отца тетю Галю с семейством, которых человечество не знает, мы все, обитавшие на улице Коммунаров (которых тоже человечество не знает), так и называли для простоты и краткости – культбазовскими.

Моя культбазовская бабушка Екатерина Ивановна была староверкой – дородной, громкоголосой, серьезной и неграмотной. Зато умела делать любую работу и стряпать без дрожжей.

Были у нее две сестры – Аграфена и Секлетинья. Когда они собирались вместе, садились рядком на диван – все в платках, грудастые, белые лицом – и начинали разговаривать, я понимал процентов двадцать слов – не больше. Общий смысл разговора от меня тоже нередко ускользал, но фонетика завораживала!

Воспоминания о языке

Катерина, Секлетинья, Аграфена –
мать отца и рядом младшие сестрицы –
восседали и на староверской фене
пели, как мифологические птицы.

Мне б записывать, а я со ртом открытым –
так, что сами угощенья залетали, –
слушал их под сенью кукол и открыток –
тех, которые в окошке отцветали.

Устрашаясь стрекотанья Секлетиньи,
Аграфеновой гофрированной ткани,
я жевал и дожидался епитимьи:
Катерининых суровых толкований.

Секлетинью она ставила на место,
обрывала Аграфену грозным басом…
Чтобы в доме без дрожжей всходило тесто,
квас малиновый сменялся желтым квасом,

чтоб в углах не заводилось обстоятельств
места, времени и нового устоя.
…Изо всех словечек, вывертов, ругательств
не запомнил наизусть ни одного я.
(Только это – только «озеро пустое».)

Но остались моей греческой латынью
Катерина, Аграфена, Секлетинья.

Еще в девках культбазовская бабушка Катерина была сильна физически и работяща. И вот эти-то ее качества могли перевернуть историю России. Да-да…

В молодости она жила в деревне недалеко от Владимирского тракта, по которому отправляли в Сибирь ссыльных, – в традиционном староверском доме. Поскольку дом был староверский, он стоял на краю деревни. И именно в окно этого дома однажды постучал бородатый невысокий человек – по всему беглый каторжник. Староверы всегда были настроены враждебно по отношению к любой власти и беглых принимали. Приняли и его. Прежде чем пойти дальше на запад, он несколько дней прожил в доме моих староверских предков и помогал моей тогда четырнадцатилетней бабушке колоть дрова.

Физически сильная Катерина вполне могла однажды опустить колун не на чурку, а на его голову, и тогда не было бы в мировой истории никакого Сталина, а разве что где-то петитом мелькнул бы малозначительный большевик-экс Джугашвили, сгинувший до Октябрьского переворота.

Но повести себя так у бабушки еще не было оснований – она же не знала, что из-за этого рябого грузина раскулачат за две коровы и сошлют ее отца (хозяина дома, принявшего беглого), а ее старшую дочь Евдокию после войны и Дахау отправят в колымские лагеря. И что лично была знакома со Сталиным, культбазовская бабушка узнает только перед самой войной, когда в доме появится первая книга на русском, а не на церковно-славянском, – букварь моего будущего отца Парня с многочисленными портретами Сталина, в том числе и молодого, бородатого, времен арестов и побегов.

Впрочем, Сталина бабушка не ругала, она вообще была сдержанна на язык, единственным и главным ее ругательством было вот это, не на шутку пугавшее меня в детстве «озеро пустое».

Сталина нес по всем кочкам ее муж, мой дед Валерьян Егорович, почему-то чаще всего именовавший вождя всех времен и народов говноусым.

Дед Валерьян тоже изначально был старовером, но с войны, которую прошел от и до минометчиком на Севере, даже в Заполярье, и получил осколочное ранение в голову, вернулся убежденным евангелистом. Объяснял смену конфессии так: они (староверы) читают свои книги и не понимают про что, и до конца дней потешался над походами бабушки в молельный дом. Сам же, кроме Евангелия, любил читать Некрасова, знал почти всего наизусть и часто к месту вворачивал цитаты из Николая Алексеевича. А когда некрасовских цитат не хватало, вспоминал что-нибудь народное или, подозреваю, свое, например:

Как во городе да во Саратове
Проявился там детина –
Он незнамый человек.
Он по городу похаживает:
Синя шапка набекрене,
Пистолеты на ремене
И шашка до земли…

«Во!» – неизменно добавлял дед и поднимал вверх большой палец. Был он худ, невысок ростом, закручивал усы вверх, носил сапоги и гимнастерку. А сколько занятий сменил за жизнь! Был механизатором, потом его избрали председателем колхоза – поработал, огляделся, сказал «Дерьма-то!», плюнул и уехал в Ленинград на стройку, несколько лет присылал оттуда посылки своей полуброшенной многочисленной семье. Но и в Питере перед ним в какой-то момент настойчиво замаячили перспективы карьерного роста – дед Валерьян сказал «Дерьма-то!», плюнул и вернулся в родные предуральские леса, стал зарабатывать на жизнь охотой.

Тогда у ворот нашего двухэтажного деревянного дома на улице Коммунаров дед появлялся то со связкой белок на ремне, то с глухарем или тетеревом (хвойный вкус глухариного супа помню до сих пор).

А еще Валерьян Егорович искал клады, разводил пчел, делал запруды и запускал в образовавшиеся водоемы зеркального карпа, клал печки, рубил лес и строил избы, а также недолго был токарем на одном заводе, вахтером на другом и всегда – вольным человеком.

Свои фронтовые медали дед пустил на блесны.

«Международным положением» – так называлось тогда все, связанное с политикой, – дед интересовался, слушая Круглый стол по радио. Коммунистов называл ворами и власти совер-

шенно не доверял – когда говорил про нее, так щурился, что, казалось, ясно видит впереди что-то, скрытое от других.

Вообще представляется, что смотрел он на мир с какой-то более высокой точки, нежели большинство. Может быть, такому его взгляду способствовало пребывание на питерских строительных лесах или на деревьях в прикамском лесу во время охоты?

Во всяком случае вспоминается Ошо с его рассуждением о том, что категория времени зависит от высоты и обширности взгляда. Если сидишь под деревом и к нему едет повозка, то эта повозка для тебя – ближайшее будущее (станет настоящим, когда до тебя доедет); если же сидишь на дереве, то уже видишь эту повозку, и, следовательно, она для тебя настоящее (то есть ты можешь наблюдать свое закрытое от приземленного взгляда ближайшее будущее); ну а если подняться еще выше да к тому же развить в себе внутреннее зрение!..

В общем, время – наверняка неотделимо от пространства и, хотя, скорее всего, представляет собой некий шар, движемся-то мы по его радиусу. И вот по этому радиусу я продвинулся уже на двадцать с лишним лет дальше культбазовского деда и наконец увидел то, что, возможно, он знал давно: коммунисты в нашей стране посжигали собственные партбилеты, после чего почти открыто проявили свою воровскую сущность. Дед Валерьян оказался прав, но доказательств своей правоты не дождался, хотя на несколько лет пережил бабушку.

Его зарезали на операционном столе, вырезая всего лишь грыжу. Было ему 84… Не так мало. Его сын Парень, мой отец, до этого возраста не дожил. И Самойлыч много лет не дожил. И Станислав Борисыч… Когда он (Рассадин) узнал о смерти моего отца, сильно сопереживал. А сам умер ровно через две недели. И почти все мои «дядьки» ушли раньше. Но – это Борисыч любил цитировать (из Жуковского):

Не говори с тоской: *их нет*;
Но с благодарностию: *были*.

Первый и второй

Вскоре после смерти отца Парень сдал – увы, уже не экзамен. Расслабился, полностью подчинился матери. Но до этого успел познакомиться с Самойлычем.

Произошло знакомство в Москве, куда я к тому времени переехал, в пятикомнатной писательской квартире Самойлова. Я там проживал. Парень приехал навестить сына.

Самойлыч в то время жил в основном в Прибалтике, но часто наезжал в Москву – и начинался праздник.

> Гости приходили почти каждый вечер.
>
> Сухая строгая старуха Лидия Корнеевна Чуковская, которую Самойлов, кажется, немного побаивался. Мрачновато-остроумный и тоже строгий в отношении вредных привычек хозяина Зяма Гердт (почти все его так называли, а он не возражал). Узнаваемо-красивый и внимательный к каждому слову Самойлыча Михал Михалыч Козаков. Веселый и находчивый Юлий Ким. Знаменитый редактор поэзии и родственник Самойлова по первой жене, высокий и породисто-красивый Виктор Фогельсон. Обаятельный и умный Алик Городницкий с милой и яркой женой Аней Наль, признанной ученицей хозяина дома. Еще парочка его так называемых учеников (Самойлычу нравилось чувствовать себя окруженным учениками, мне же он говорил, что я не его ученик, а Слуцкого). Потрясающий переводчик и глубокий человек Анатолий Гелескул. Тогда еще широко известный только в узких кругах пристальный и веселый филин Игорь Губерман, которого Самойлов в свое время у себя прописал, чтобы тот не был уж совсем безродным космополитом, да еще и бомжем. Его, Губермана, теща – невозмутимая и мудрая Лидия Борисовна Либединская – почти всегда с сигареткой, не смотри что графиня по линии Льва Толстого. Молодой тогда критик Сергей Чупринин, на которого Самойлыч возлагал большие надежды (ну надо же, чтобы стихи кто-то понимал!). Удивительный полковник (настоящий!) Петр Горелик, ближайший друг Самойлова и Слуцкого (Бориса Абрамовича – еще с Харькова). Конечно, Юрий Левитанский, друг-стихотворец и сосед по дому, угнетенный в те годы бытовыми заботами: по воспитанию и кормлению трех маленьких дочерей. Еще три-четыре академика, некоторые из коих не производили впечатления умных людей… Всех не перечислить.

Когда Самойлов приезжал в Москву, Москва сама к нему приходила.

Обилие знаменитых друзей Самойлыча не мешало мне приводить в дом и моих товарищей (это слово, замаранное советской властью, на моих глазах успешно возрождал Щекоч – один из самых близких моих друзей-товарищей, хотя и немного дядька). К ним Самойлыч относился внимательно и радушно, как подобает относиться к друзьям сына. Тем более внимательно и радушно он отнесся к моему кровному отцу.

Тот приехал в столицу как настоящий провинциал: с банками своего меда и маминого варенья, но без провинциальной гордыни.

В первый же вечер состоялось обильное застолье, на котором хорошо помню Левитанского. По тому факту, что в какой-то момент Юрий Давидович запел свою песенку про лотерейный билет, который «за тридцать копеек всего», а потом и любимую русскую народную «Когда будешь большая, отдадут тебя замуж…», можно судить, как долго длилось застолье. Очень долго.

Одной из главных тем разговора был сталинизм.

Отец Парень рассказал про свою старшую сестру Евдокию (для меня Тетьдусю).

Она ушла на фронт добровольно. Поскольку хорошо знала немецкий, служила переводчицей при штабе полка. Попала в плен из окружения, была отправлена в Германию. Там работала на какого-то бауэра. Бежала с еще двумя русскими. Их поймали (подвела выпечка на подоконнике открытого окна дома в немецкой деревне – голодные были, не удержались). Попала в Дахау. Освободили американцы, предлагали поехать в Штаты – отказалась. В результате – и это уникальный случай! – довоевала в той же части, из которой попала в плен (его обстоятельства были абсолютно прозрачны). Вернулась победительницей, уже из Болгарии. По дороге домой познакомилась с раскрасавцем-гармонистом. Влюбилась. Но его «выявили» как «власовца» (за то, что состоял в армии этого генерала, но не в РОА, а еще в той – Красной, Власов же был даже любимцем Сталина). Красавец-гармонист бесследно исчез. А вскоре взяли и ее. Отправили на Колыму. Говорила, что в Дахау было лучше.

– Но после лагерей она вышла замуж, – закончил рассказ отец Парень, – и сумела родить двоих детей – вот настоящий подвиг!

Самойлыч внимательно слушал, влажнел глазами, сказал, что это целый роман, и заговорил о том, как они, молодые поэты, попавшие на фронт со студенческой скамьи (ИФЛИ и Литинститута), относились к Сталину:

– Почти никто ничего не понимал, кроме разве что Бори Слуцкого.

А когда вождь народов умер, собрались своим уникальным кругом, где не оказалось ни одного стукача, и сидели в растерянности.

– Вдруг прибежал Женька Винокуров, – продолжил Самойлыч. – Он прыгал, как мячик, и радостно кричал: «Подох! Подох!» И как-то сразу все стало ясно.

Тут Парень, конечно, вспомнил своего отца, который всегда ненавидел Сталина и воровскую власть, а не попал в лагеря только потому, что никогда не хотел быть даже мелким начальником.

…Кажется, именно тогда Самойлыч рассказал эту историю.

Однажды по протекции своего друга он попал на семейное торжество в дом Микояна. В тот самый Дом на набережной. Его соседкой по столу оказалась симпатичная рыжеволосая незнакомка. За которой он, натурально, весь вечер ухаживал. Потом, естественно, вызвался проводить. Выяснилось – совсем недалеко. Она жила в том же доме.

Проснувшись утром, Дэзик (так его называли почти все) увидел чуть ли не над кроватью портрет Сталина.

– А зачем ты этого усатого тут повесила? – возмущенно спросил он.

– Это мой папа… – смущенно ответила Светлана, как выяснилось, Аллилуева.

И молодой поэт испугался стать отцом внуков Сталина…

– Но мы с ней до сих пор переписываемся, – закончил Самойлыч.

(Потом я узнал от его литсекретаря, что своему другу, который привел его к Микояну, он позвонил на следующий день с восторженным заявлением: «Мы его поимели!» – «Но почему “мы”, при чем тут я?» – спросил друг. «Я в это время постоянно о тебе думал», – ответил поэт.)

После такой истории Парень не мог удержаться и не рассказать семейную легенду о том, как его мать колола дрова со Сталиным.

– Вот бы топориком-то промахнулась! – мечтательно и в то же время мрачно сказал добрейший Левитанский.

Бурно обсуждали, когда Джугашвили бежал с каторги, – вроде сходилось.

А Самойлыч неожиданно добавил:

– Но нельзя забывать и о вине евреев-комиссаров перед русским народом.

Словом, на следующее утро заботливый Левитанский принес нам из своей квартиры наверху кастрюльку супчика: «Оттягивает!» Супчик все оценили. Левитанский вскоре убежал к себе дальше заботиться о дочках, а Самойлыч и Парень долго о чем-то говорили. В резуль-

тате отец Парень сильно зауважал Самойлыча, а тот как-то очень значительно мне сказал: «У вас замечательный папка!» Я радовался за себя и гордился обоими.

Кстати, если Левитанский был специалистом по супчикам, то Самойлов – по каше.

Маленький, седенький, полуслепой большой поэт стоял и варил ранним утром эту самую кашу. Говорил: фронтовая привычка.

Я и первая моя жена Алла-Розалия вставали позже. Видел я Самойлыча, варящим кашу, раза три-четыре, не больше, – когда не спалось. В другие дни – только пытался употребить продукт его деятельности. Он был вполне качественным, этот продукт, но я с утра могу один кофе. В общем, мало каши ел, дурак!

Семья Самойлова была непростая. Трое детей. Единственная из них дочка выросла фанаткой Пугачевой (Аллу Борисовну даже приводили в квартиру Самойловых – «размагнитить» дочку, не получилось). Отказалась переезжать с семьей в Прибалтику. Вот с ней мы и жили в пятикомнатной самойловской московской квартире.

Дом, где на втором этаже располагалась его квартира, был интересным. Например, в каждой квартире существовала маленькая темная комнатка, предусмотренная под библиотеку. Но как библиотеку ее использовали отнюдь не все. Например, Николай Николаевич Озеров, воистину народный артист и знаменитый спортивный комментатор, прославившийся фразой «Такой хоккей нам не нужен!», мудро сделал там бар.

К услугам этого бара прибегали, зная доброту Николая Николаевича, почти все многочисленные писатели-соседи, особенно после вступления в силу антиалкогольного закона 1985 года. А лично я испытывал на себе его (не закона) доброту несколько раз в лифте, куда пропускал Николая Николаевича, уже грузного, одышливого, с палочкой, а он всегда успевал первым поздороваться – знал, что его все знают. И непременно спрашивал: «Как ваши детки?» – «Прекрасно!» – отвечал я, хотя никаких деток у меня тогда и близко не намечалось. Потому, наверно, им и было прекрасно.

Но вскоре детеныш наметился. И, как ни странно, к заботе о нем, еще не родившемся, больше, чем будущий дед – его не было в Москве, и чем Самойлыч – долго не приезжал из Прибалтики, имел отношение один из дядек. Но тут надо еще кое-что рассказать.

Окуджава сам по себе и с хором

Мои отношения с Окуджавой начались без его ведома.

Я шел с одноклассниками после уроков (это 1972 год) по центральной ижевской улице и слушал их спор о сравнительных достоинствах разных западных музыкантов. И вдруг, неожиданно для себя, стал пропагандировать среди любителей «Пинк Флойд» Окуджаву, которого они не знали. Повисло неловкое молчание. Но тут вмешался человек, шедший за нами (как позднее выяснилось, студент истфака): «А у вас действительно есть записи Окуджавы?» – «Конечно!» – радостно воскликнул я, гордый тем, что они у меня действительно есть. «И вы можете мне их дать переписать?» Я ответил безусловным согласием и таким образом ввел в свой дом стукача.

Но Окуджава тут, конечно, не виноват. И лично познакомился я с ним только спустя шесть лет. Но здесь же, в родном городе.

Окуджава приехал сюда на выступления в составе группы писателей. В нее еще входили юморист Аркадий Арканов, который тогда и не думал петь (да и как при Окуджаве-то?), а читал свои смешные и по тем временам острые рассказы, и поэт-сибарит, а также замечательный переводчик Евгений Храмов. Выступали в моем родном Ижевском механическом институте (ИМИ), в местном университете, в ДК и библиотеках. Ездили и в соседний городок Сарапул, где сохранился дом кавалерист-девицы Дуровой, и на родину Чайковского – в Воткинск. Везде выступления проходили при огромном стечении народа. Но больше всего поклонников Окуджавы обнаружилось все же в ИМИ – зал был не просто заполнен, переполнен, стояли в дверях, кто-то умудрился залезть в окно (не первого этажа) и устроиться на подоконнике.

Шел 1978 год, самый расцвет застоя. Песни Окуджавы в те времена были глотком свободы. Причем не из-за какой-то там крамолы, а уже из-за одного только эстетического и стилистического (по Синявскому) противоречия с советской властью. Власть это чуяла и не жаловала барда, люди – тоже чувствовали и любили.

Приезд Окуджавы стал для моего родного города событием, а для меня – тем более. Я решил обязательно познакомиться с Булатом Шалвовичем и показать ему свои стихи.

Придется пояснить, что к тому времени я уже успел напечататься – причем довольно громко, с предисловием Слуцкого в «Комсомольской правде» (тогда ее любовно называли «Комсомолка», совсем иначе называют теперь), и даже на двадцать первом году жизни издал в Москве первый сборник стихов «Наедине с людьми». Эта книжка стала возможной благодаря тому, что, участвуя в фестивале молодых поэтов в Душанбе, я, что называется, прошел первым номером: писательское начальство решило – в свете партийного постановления по работе с молодыми – меня (действительно тогда молодого, русского, да еще и не из Москвы-Питера) опубликовать. А одним из руководителей семинаров в Душанбе был как раз Храмов…

Словом, я посчитал, что имею все основания прийти к Окуджаве в гостиницу, – даже нахально думал, что, может быть, он обо мне слышал. Потом выяснилось, что действительно слышал, но не от Храмова, а от Маленького Светлова. Так называли за близкую дружбу с Михаилом Аркадьевичем и близкое к светловскому остроумие поэта фронтового поколения Марка Андреевича Соболя, в то время меня опекавшего, а когда-то способствовавшего выходу первого диска Окуджавы в фирме «Мелодия». Кстати, как-то мне Соболь рассказывал, что БШ однажды спросил его мнение о «Путешествии дилетантов» и Марк Андреевич ответил, что, мол, хорошо написано… даже слишком хорошо. На что Окуджава смущенно ответил, что старался.

В общем, Окуджава – у нас. Уже почти чудо.

…Господи! Ему же тогда было меньше лет, чем сейчас мне. Но и тогдашний Окуджава остается старше теперешнего меня. Неужели только – «на Отечественную войну»? Или дело

еще в чем-то другом? Например, в ясном понимании им своего предназначения? И в потерянности нашего, никому не нужного поэтического поколения? По крайней мере, чувствуя потерянность, трудно позиционировать себя мэтром…

Впрочем, и Окуджава мэтра «не давал».

Я постучался – он открыл, строго спросил, кто я и по какому поводу. Увидев смущение, пригласил зайти в номер. Услышав несколько моих неловких фраз, всё понял и заулыбался (эту улыбку я тогда определил как кошачью).

Позже он рассказал мне, что в тот момент вспомнил, как в Тбилиси вместе со своим другом, тоже писавшим стихи, приходил к Пастернаку (кстати, Борис Леонидович обратил внимание, по словам БШ, не на него, а на его друга, вскоре бросившего писать стихи).

Тут в номер Окуджавы зашел Храмов, узнавший меня… И я был принят в компанию. Как выяснилось, с некоторой пользой.

Дело в том, что Окуджава никогда или, по крайней мере, в то время и позже не возил с собой гитару. Не хотел выглядеть артистом-гитаристом (хотя Соболю подписал свою пластинку именно так: «От одного бедного гитариста»). А организаторы поездки предложили ему нечто экзотическое, да еще и с наклейками. На таком инструменте Булат Шалвович играть не мог. На счастье, у меня оказалась вполне приличная, купленная по блату «Кремона». Ее Окуджава одобрил, но сам носить все-таки не захотел. И я с удовольствием и даже гордостью стал его оруженосцем на всех выступлениях. Но – не только оруженосцем, еще и экскурсоводом по городу и его домам.

Под домами в данном случае подразумеваются, скорее, их обитатели, умевшие делать типовые советские квартирки действительно домами со своей атмосферой и традициями.

Так я привел Окуджаву в дом полуслепого опального профессора, филолога-структуралиста, автора (помимо прочего) «Теории автора» и неожиданной книги «Лирика Некрасова» Бориса Осиповича Кормана, затянутого в наш город болотом застоя.

Оба были чрезвычайно рады знакомству. Во всяком случае, я видел, как Борис Осипович волновался, а Булат Шалвович потом благодарил меня за то, что попал в дом Кормана.

Познакомил я с БШ и главного редактора самой живой (или единственно живой) в городе газеты – молодежной. Для нее я сделал интервью с Окуджавой. Называлось оно «Не убирайте ладони со лба» и оказалось весьма куцым – по моей вине. Но там было и о необходимости «думать, а не улыбаться» (цитата из Слуцкого, которого БШ чрезвычайно ценил), и о том, что его, Окуджавы, любимое занятие – мыть посуду, поскольку это способствует правильной самооценке. По-моему, об этом он тогда сказал впервые, но потом еще где-то повторил.

А во время прогулок по городу (Окуджава все время сетовал, что в нем сохранилось мало старины) мы разговаривали буквально обо всем – отнюдь не только о литературе, эти разговоры он любил меньше всего, в отличие от анекдотов. Зато мы оба оказались болельщиками «Спартака». И тут уж обмену мнениями – с обеих сторон вполне компетентными! – не было конца. Конечно, и свои стихи Окуджаве я показал – и ничего плохого о них не услышал. Но в тот период Булат Шалвович писал прозу и интересовался ею как и историей больше…

Эта картинка и сейчас кажется мне фантастической: идем это мы с Окуджавой, который в кепочке и щурится, по центральной улице моего родного города – Пушкинской – и обсуждаем спартаковские футбольные дела. А то вдруг – что-то как раз из пушкинских времен или про самого Александра Сергеевича. И это праздник…

Уехав, Окуджава стал присылать мне свои новые книги: понимал, что я их здесь вряд ли достану – разве что у спекулянтов.

Потом и я – в 1983 году – переехал в Москву. Поступил на Высшие литературные курсы (ВЛК) при Литинституте. Жил поначалу вместе с женой Аллой-Розалией в комнате общежития Литинститута. Но вскоре Самойлыч, практически эмигрировавший в Прибалтику, пред-

ложил нам переселиться к нему в московскую квартиру в писательском доме на Астраханском. Мы с женой с радостью согласились и – оказались соседями Окуджавы.

Часто приходится слышать мнение о закрытости и даже высокомерии Окуджавы. Ничего этого я на себе не почувствовал и близко. Да, он не терпел фамильярности и амикошонства. Но был и теплым, и даже каким-то домашним, что ли. Приглашал нас с женой на чай. Как-то, вернувшись из Штатов, позвал меня продемонстрировать привезенную оттуда диковинную в те годы игрушку – довольно примитивный компьютер, играющий с тобой в шахматы. Я поиграл. Еще БШ постоянно спрашивал, не вовлекают ли меня в пьянство всякие там – и он назвал во множественном числе имя одного незначительного стихотворца, поклонника Самойлова, – когда Самойлыч приезжает в Москву…

И к нам на ВЛК Окуджава тоже однажды пришел. Его позвал руководитель поэтического семинара, прекрасный поэт, как и БШ фронтовик, человек с глазами падшего ангела (определение Соболя) Александр Петрович Межиров.

О, как мне завидовали все однокашники, что БШ со мной поздоровался и о чем-то заговорил! По-моему, после этого мои отношения с ними немотивированно, как мне казалось, осложнились. А Окуджава тогда даже спел. И Межиров его пение нам прокомментировал:

– Т-т-талантливо даже то, как он ставит ногу на стул, чтобы поддерживать гитару!

Вскоре, закончив ВЛК, я поступил на работу в «Крестьянку» завотделом литературы и попросил у БШ новые стихи для журнала. И хотя Окуджава вряд ли крестьянский поэт, а «Крестьянка» далеко не престижное литературное издание (в те уже перестроечные годы любой журнал был бы счастлив напечатать Окуджаву), БШ отдал мне новые стихи, чтобы поддержать начинающего редактора. А однажды Окуджава даже пел песни на вечере «Крестьянки» в каком-то ДК. Это к вопросу о его якобы снобизме…

Надо сказать, в то время моя жена была беременна. Как-то зимним днем (я был на работе) Булат Шалвович встретил ее, скользящую по направлению к булочной. Тут же он подошел, дал руку и проводил ее до магазина и обратно.

С тех пор БШ время от времени ей звонил, спрашивал, не надо ли чего, и прогуливал («Беременным надо много гулять!») или снова сопровождал до булочной. А меня он спрашивал, не надо ли денег. И раза три я деньги у Окуджавы занимал. Самое трудное было долг возвращать – Булат Шалвович всякий раз удивленно поднимал свои и без того «удивленные» брови и очень убедительно говорил, что не помнит, чтобы я был ему что-то должен…

В те годы еще проводились многочисленные фестивали литературы, практиковались писательские поездки по стране.

На одном из таких фестивалей – грандиозных Днях советской литературы в Абхазии (это ноябрь 1984 года) – мы оказались вместе с Окуджавой. Трудно сказать, кого из наших знаменитых писателей (по-моему, только Ахмадулиной и Самойлова) и чего из грузино-абхазских знаменитых напитков там не было. И там Булат Шалвович взял надо мной шефство. На всех банкетах и просто обедах он усаживал меня рядом с собой и как знаток грузино-абхазской кухни (тогда еще было возможно такое словосочетание всего лишь через дефис) руководил моим чревоугодием – советовал, что при моей ранней язве (сам был язвенником) есть можно, а чего – категорически нельзя. Что касается напитков – тем более.

Помню грандиозный прием в доме, вернее, во дворе народного абхазского поэта Баграта Шинкубы. Столы образовывали гигантскую букву П под навесом. Сам хозяин в черкеске с газырями расхаживал в прямоугольнике, получившемся внутри этой буквы, и произносил высокопарные тосты. Окуджава высокопарностей и национальной экзотики напоказ не любил, и мы с ним в промежутках между тостами перешептывались. По-моему, именно тогда я познакомил его со своей коллекцией графоманских перлов.

О, там были высокие образцы! Например, – лирическое произведение, от татарина, который писал, что, к сожалению, плохо знает родной язык и потому пишет по-русски:

Приснился сон
В синий нощь,
Окрасил окон
В синий-синий рощь.

По-моему, гениально. БШ тоже так посчитал и решил пополнить мою коллекцию. Он вспомнил когда-то прочитанное в книжке неизвестного стихотворца произведение, посвященное Пушкину. Вот какие он зачитал мне строки:

Я поэтом лежу на диване –
Ты портретом висишь на стене…

А после банкетов мы собирались договорить и дообщаться – всегда в одном и том же составе (по алфавиту): Битов, Искандер, Окуджава, Рейн, Чухонцев ну и я. Часто этот пир духа (и не только) происходил в номере БШ (гостиница «Абхазия», на самом берегу моря, впоследствии разрушенная во время грузино-абхазской войны). Он (номер) был все-таки побольше, чем у остальных (кроме, естественно, Искандера) упомянутых писателей, – в Сухуми понимали масштаб Окуджавы…

Еще одна наша совместная с БШ поездка состоялась в конце мая – начале июня 1985 года.

Мероприятие называлось «Пушкинские дни в декабристских местах». Все происходило в Иркутской области. Главой делегации была замечательная Лидия Борисовна Либединская.

Мы ездили по доныне диким бурятским поселениям, таким, как Ойек. Посещали могилу любимого Окуджавой Лунина. Пытались перед выступлением в огромном, стеклобетонном и неуютном Дворце культуры города Усть-Кут погулять по этому городу. Что оказалось возможным только вокруг самого ДК и непосредственно по трассе БАМа, на которой движения не наблюдалось, – а все остальное было покрыто грязью или водой…

Даже в бурятских селениях Окуджаву, в отличие от всех остальных, знали и встречали с восторгом. Лидия Борисовна говорила: «Это уже не популярность – это слава!» Еще она говорила: «Какое все-таки счастье, что у нас есть Окуджава!» А я дразнил его Бурятом Окудзавой, на что БШ только улыбался. Он сам рассказывал мне о слухе, который пустили про его отца: мол, японский шпион и настоящая его фамилия Окудзава.

И еще я придумал шутку. После выступления подходил к БШ и с серьезным видом говорил:

– Булат Шалвович, мне надо сказать вам нечто важное…

– Да, Олег… – склонял он ко мне голову.

– Быть знаменитым некрасиво! – торжественно цитировал я Пастернака.

Он смеялся. И так три раза, как в анекдоте. Ловился!

Поскольку разъезды по Иркутской области были долгими и утомительными, мы с Окуджавой – с вынужденными перерывами, конечно – сочиняли устную пьесу «Приключения Бурятино». Некоторые эпизоды этого произведения всех в нашем микроавтобусе веселили и вовлекали в сотворчество, но записать хоть что-то я, увы, не удосужился и, конечно, давно уже всё забыл.

Наконец мы приехали в Ангарск. Случилось это 1 июня, напомню – 1985 года. А значит – в первый день вступления в силу великого антиалкогольного закона.

Наш вечер проходил в самой большой городской библиотеке. После него интеллигентные библиотекарши предложили нам попить с ними чайку и повели куда-то за стеллажи…

О, неистребимая русская интеллигенция в провинциальных городах и весях! На тебе стояла, стоит и стоять будет Россия-мать-перемать!

На длинном столе между стеллажами с книгами помимо обещанного чая присутствовали – водка, коньяк, сухое и портвейн, причем в промышленных количествах!

Потом подумал, неужели бедные библиотекарши сами скинулись, но тогда мысли были о другом: об интеллигентской фронде, народном сопротивлении и непростых отношениях общества и государства. С Окуджавой мы этими соображениями поделились сразу же, а потом было не до того. Мы всей нашей бригадой пролетариев литературного труда очень дружно и активно выражали свое нет государственному произволу!

Когда манифестация закончилась, ее участников, как и в нынешние времена, натурально погрузили в автобус, но не в пример – вежливо и даже ласково.

Автобус отправился в Иркутск. По дороге мы запели. Напрашивалась «Выпьем за Родину, выпьем за Сталина, выпьем и снова нальем…», но всем нам Сталин нравился еще меньше, чем антиалкогольный закон, а уверенней всего мы помнили песни Окуджавы. Сам БШ их тоже подхватывал, но слова почему-то знал хуже остальных исполнителей. И тем не менее это был первый на моей памяти случай пения Окуджавой своих песен с хором. Ну пусть и не с Краснознаменным, но, видит бог, исполненным истинного энтузиазма…

И все же наше главное выступление состоялось в самом Иркутске, во вместительном, но все равно битком набитом зале главного городского театра.

А перед выступлением произошла такая история.

Утром в гостинице БШ зашел в номер Либединской попить чаю с медом – «для голоса». Лидия Борисовна специально «под Окуджаву» привезла этот мед из Москвы. Но стоило БШ выйти из номера Либединской, как он подвергся нападению женщины, никем в последние годы не определенного возраста, – дежурной по этажу. Самое приличное из того, что она кричала, было: «Как не стыдно! Ведь уже немолодые люди!» И правда, Лидии Борисовне было тогда за шестьдесят, и она после болезни ходила с палочкой.

БШ ничего не ответил, только его брови взлетели в поднебесье.

А вечером состоялось наше выступление в переполненном зале иркутского театра, и случился еще один небольшой скандал. Его причиной на этот раз стал не чай с медом, а непосредственно я собственной персоной.

Дело в том, что месяца за два до Пушкинских дней я уже приезжал в Иркутск, который на меня произвел разнообразные впечатления. И неожиданно они выразились в стихах.

Заканчивались мои вирши про Иркутск так:

…Запомню этот город, этот град
по ставням по закрытым (что неважно),
по дeвицам ругающимся (тоже
неважно), по угрюмому кумиру
Распутину – теперь он здесь живет…
Зачем-то мне показывают от
и до-ре-ми приснившееся миру.

А еще там было что-то про полубурятство этого города… В общем, идея прочитать такое произведение со сцены в Иркутске теперь мне кажется безумной. Тем не менее я ее осуществил!

И тут же испытал на себе ненависть половины зала. Раздались оскорбительные выкрики. Это переносится тяжело.

Я сел на место. Окуджава прошептал мне на ухо, что я категорически не должен реагировать и вообще обращать внимание. Тут из зала передали БШ записку, которую я через его плечо прочитал. В записке, обращенной отчего-то к нему, а не к Лидии Борисовне, которая

была не только главой делегации, но и вела вечер, задавался вопрос, почему он, Окуджава, привез с собой в их замечательный город такого негодяя, меня.

И как раз в это время Либединская, к радости зала, объявила Окуджаву.

БШ начал, естественно, с Пушкина, но потом как-то ловко перешел на мою нескромную персону и похвалил как самого молодого в делегации, а уже талантливого. Зал настороженно, но и уважительно слушал. В общем, БШ меня отмазал. После чего стал петь свои удивительные песни.

Неужели потому, что он заступился за меня, подлеца, опорочившего их город, в Иркутске тогда не напечатали ни одного интервью с Окуджавой?

Но вернемся от домыслов к реальности. Значит, сначала БШ говорит о Пушкине, потом – обо мне, любимом, потом поет свое…

Никогда больше я не окажусь в таком чудесном контексте, в такой веселой компании – с Пушкиным и Окуджавой! «А все-таки жаль…»

Съехав с квартиры Самойлыча (ввиду намечавшегося рождения ребенка, это было бы уже слишком для продолжения светской московской жизни, которой у него оставалось все меньше и меньше) и перестав, таким образом, быть соседом Окуджавы, я продолжал приходить к нему в гости. Однажды я даже нахально завалился в его дом в Новый год с друзьями, без звонка. Не прогнал.

А потом мы снова стали соседями – теперь уже по Переделкину.

БШ получил в качестве писательской дачи-мастерской маленький домик на улице Довженко и очень ему радовался.

Окуджаве была необходима топографически обозначенная зона одиночества.

Вскоре и я получил сторожку на улице Павленко, на даче Всеволода Иванова, и тоже очень радовался – по той же причине. Поэтому навязывать свое общество Окуджаве я категорически не хотел, и все же мы довольно часто виделись – то по делам, литературным и не только (я в то время уже работал в «Новой газете»), то средь шумного бала, случайно (например, на празднике в переделкинском Доме-музее Чуковского), то и вовсе на дороге. То есть я на ней стоял и ловил машину до города, а БШ ехал. И он раза три-четыре меня подвозил.

Однажды, стоя на обочине в позе Ленина на броневике, я вдруг увидел, как какая-то машина дает задний ход, причем угрожающе быстро. Я отскочил. Оказалось, это машина БШ. За рулем был его сын Булька, а сам Окуджава пригласил меня сесть рядом и вместе доехать до города. А услышав мои неосторожные, но искренние опасения, что опаздываю на планерку, предложил довезти прямо до редакции. На мои отнекивания возразил, что тоже работал в газете и знает. (Как БШ работал в газете, мне подробно и смешно рассказывал Рассадин, его друг, первый слушатель и критик, в то время коллега по этой конторе.)

Помню, тогда по дороге Окуджава говорил, как Евтушенко буквально заставил его собрать свою книгу стихов и сделал все, чтобы издать ее в Москве.

В результате моих отнекиваний и наших разговоров БШ довез-таки меня до самой редакции «Новой», которая тогда располагалась на Тишинке.

Все равно минут на десять опоздав на планерку, я нашел безошибочное оправдание: «Извините, тут меня Окуджава подвозил – немного заболтались». И упреков за опоздание не последовало – или собеседник Цезаря, как и его жена, вне подозрений, или главный редактор решил, что у парня мания величия и с этим надо разбираться отдельно.

…А отдельно были мои посещения Окуджавы в его переделкинском домике. Во время одного из них я вдруг услышал шуршание и забеспокоился, а БШ, заметив беспокойство, рассказал, что у него тут есть своя мышка, которую он кормит, и, значит, все в порядке…

Как-то на переделкинской улице Довженко в маленьком домике справлялся юбилей поэтессы Марины Тарасовой. Мы приехали к ней вместе с моим другом – талантливым, но не очень известным (не тусовочным и не каэспэшным) бардом Толей Головковым. Громкоголосая

Марина радовалась гостям, угощала и смеялась. А потом вдруг загрустила. Вот, говорит, живу напротив Окуджавы и даже с ним не знакома, только здороваюсь при встрече, а он вежливо кивает, но не знает кому.

Я расчувствовался и решил сделать новорожденной главный подарок.

Для этого отправился к домику Окуджавы без всякого предварительного звонка. Решительно постучал в дверь. Услышав «Кто там?», представился. Дверь открылась – на пороге «домашний» БШ.

– Извините, Булат Шалвович, за беспокойство, но тут на вас соседи обижаются, – заявил я очень твердо и печально.

– Да? А за что?

И я рассказал БШ всю правду.

Буквально через пять минут мы с Окуджавой были у Марины, а она была счастлива.

Но нет такой бочки меда, в которой не оказалось бы ложки дегтя. Дело в том, что Толя Головков давно хотел показать что-то из своих песен любимому барду, а тут такой случай – общее застолье, но… Гитары не было. Ни у самого Головкова в машине. Ни у Тарасовой. Ни, как выяснилось к немалому общему изумлению, у Окуджавы (он тогда писал стихи и прозу, а не «песенки», и гитару от греха подальше в Переделкине не держал).

Я обзвонил ряд окрестных писателей – никто из них не оказался гитаровладельцем… В общем, мы с Головковым доехали до Москвы и привезли-таки гитару.

Толя спел несколько песен. БШ они понравились, о чем он сказал прямо и однозначно, – никогда, между прочим, в своих оценках не лукавил. Причем понравились настолько, что Окуджава завелся и сам вызвался попеть, чего не делал к тому времени в компаниях несколько лет.

Сначала мы благоговейно слушали, а потом стали подпевать. И это было второе при моем участии пение Окуджавы с хором. И так ли уж важно, что нестройным, – зато от души.

Еще был смешной случай. Я познакомил БШ со своей второй женой Анной Саед-Шах, и он прочитал ее повесть «Смерть пионерки». Окуджава вызвался написать предисловие к ней, сказав, что прочитав повесть, снова захотел вернуться к своей автобиографической прозе. Аня на это легкомысленно ответила: «Не надо. Мне уже Евтушенко написал».

…А последняя моя встреча с БШ произошла за три дня до его последней поездки в Европу с выступлениями. Летел он в Германию, во Францию тогда даже не собирался. И хорошо бы, если б не собрался, кто знает… «Не пускайте поэта в Париж…» Но сослагательное наклонение работает только в виртуальном мире…

Я пришел к нему на Безбожный (ныне снова Протопоповский) вместе с другом, поэтом и литературным исследователем Андреем Черновым. Булат Шалвович был предельно радушен. Предложил нам выпить с ним водки (что делал нечасто), сказав:

– Это Войнович из Германии привез – должна быть хорошая.

И потек разговор. О том, что происходит в стране. О том, чем в российской истории это вызвано. О «Новой газете», которую БШ читал с интересом и сочувствием. О Чубайсе, на которого возлагал надежды, несмотря на античубайсовские настроения, мелькавшие и в тогдашней «Новой». В общем – «об Азии, Кавказе и о Данте» (Самойлов, из знаменитого стихотворения «Пестель, Поэт и Анна»)…

Ольга Владимировна, жена БШ, сидела рядом, но в разговоре участвовала только время от времени. А периодически БШ вспоминал, что в холодильнике еще есть что-то подходящее, и отправлял ее за этим подходящим на кухню. Кажется, дело было не в необходимости дополнительной закуски, а в свойственном поэту чувстве гармонии: на троих так на троих…

Когда мы расставались, как выяснилось потом, навсегда – БШ проводил нас до дверей. И уже в дверях спросил:

– Так, когда в России было отменено крепостное право?

Мы с Черновым дружно выпалили:

– В 1861-м!

– Да-да, только в 61-м… В этом-то все и дело… – грустно сказал Окуджава. И еще раз (мы уже обсуждали это за столом) пообещал мне что-то передать для публикации в «Новую газету» сразу же – как только вернется из Германии.

Это обещание оказалось единственным, которое Окуджава не выполнил. По крайней мере, из данных мне.

…Потом были букеты и букетики цветов, заткнутые в его переделкинскую калитку, и – прощание в театре Вахтангова на его родном, хоть и офонаревшем Арбате.

Я не пошел «по знакомству» на сцену. Встал в нескончаемую очередь, тянувшуюся от Смоленки. Проходивший мимо Евтушенко звал меня пройти с ним, но я отказался. Я был прежде всего поклонником Окуджавы, а уже потом его хорошим знакомым и почти другом, младшим. Поэтому я хотел оставаться в нескончаемом потоке его поклонников. Только в августе 1991-го и тогда на Арбате в 1997-м я чувствовал единение с незнакомыми людьми на улице (много позднее это случилось еще на Болотной и проспекте Сахарова).

Шел мелкий, какой-то осенний, несмотря на июнь, дождь, а мы медленно двигались к гробу того, кто нас объединял, и не обращали внимания на этот дождь. Даже хорошо, что он шел. По крайней мере, мужчины этому дождю были, по-моему, благодарны.

Булат Шалвович Окуджава,
так проходит земная слава –
по Арбату в сто тысяч ног.
Это вы уже сверху видели:
проигравшие победители
девяностых – всему итог
подводили – под мелкий дождик,
под колеблемый ваш треножник,
скрипку Моцарта, скрип сапог.
Вслед за песенкою короткой
поднимался беззвучный рокот,
по Арбату-реке волной
шел, вздымался, бился о небо,
на людей глядевшее слепо,
нависавшее над страной.
Булат Шалвович Окуджава,
так приходит земная слава:
не крикливо, не величаво,
к небу тягостному спиной.

Но и в тот горестный день я с Окуджавой не расстался. Остались его голос, песни, книги. Его переделкинский домик стал всегда открытым для друзей БШ Домом-музеем. В нем, спасибо Ольге Владимировне, я отметил, так сказать, в рамках Булатовых суббот и свое, как пошутил тогда друг Окуджавы Юрий Карякин, полувечье, и 55-летие тоже. Лучшего места, да еще в июле, даже представить нельзя.

И на «все наши шалости и мелкие злодейства», улыбаясь, смотрел Булат Шалвович с большого фотопортрета над нашими головами.

И всегда будет смотреть. «Пока Земля еще вертится…»

А Станислав Борисович Рассадин словосочетание «проигравшие победители» использовал потом, к моей радости, в названии одной из своих многочисленных и замечательных, хоть и не прочитанных всерьез, книг…

…Но это я залетел в совсем другое время. Надо вернуться – даже не из Иркутска, Москвы или Переделкина, – из Сухуми…

Сухуми – Мухус *(Палиндром)*

А что было в Сухуми?

Например, мой приход в мастерскую к замечательному художнику Нугзару Мгалоблишвили. Когда мы стояли на балконе его мастерской, между нашими головами, повернутыми друг к другу, пролетела шаровая молния – гость из другого измерения. Мы не шелохнулись (что, видать, было совершенно правильно). Молния залетела в мастерскую, облетела ее, как бы оглядев картины Нугзара, и вылетела обратно – снова между нами. С тех пор (убей меня гром!) мы стали близкими друзьями, даже братьями. Поэтому я и знаю – Нугзар не любит говорить об этом посторонним, – что гораздо менее гуманным, чем шаровая молния, оказался снаряд грузино-абхазской войны: он полностью уничтожил мастерскую Нугзара со всеми картинами. Слава богу, самого художника в это время там не было. (Потом Нугзар сделает гениальный памятник нашему общему любимому другу Щекочу.)

Кстати, второй раз чудесное спасение случилось со мной тоже в Абхазии. Правда, не в Сухуми – в Пицунде, в писательском Доме творчества.

Я в тот день ездил в Сочи по странному делу. Поездка оказалась утомительной.

И когда я наконец вернулся, пошел снимать усталость посредством моря. Отплыв на значительное расстояние от берега, я перевернулся на спину и стал возлежать, омываемый теплой черноморской водой. Ну и задремал. Разбудил меня странный крик: «Помогай! Помогай!»

Если бы форма крика не была столь непривычной, возможно, я бы и не проснулся (никогда?). Но она была именно такой, и, проснувшись, я поплыл на помощь, на этот крик. Оказалось, что к берегу. А дело в том, что отдыхавший в том же Доме творчества (или как его называли местные в Литфонде) армянский поэт Размик Давоян в этот вечер, злоупотребив грузино-абхазским гостеприимством, решился на ночное купание. Но когда он вынырнул, совершенно не мог понять, куда ж ему плыть: впереди стояло какое-то судно, сзади была окраина Пицунды… Но! Огоньков-то было примерно одинаковое количество с той и с другой стороны!

Когда я доплыл до Размика, он уже стоял, нащупав ногами дно. Так что спасать мне его не пришлось. Я мог только подсказать ему, не куда ж ему плыть, а куда идти.

И на самом деле это он спас меня!

Потом я, конечно, рассказывал этот случай своим грузинским и абхазским друзьям. Хотя они приезжали ко мне и забирали куда-нибудь в горы, удивительным образом никогда не пересекаясь…

В последние Дни советской литературы в Абхазии между грузинами и абхазами чувствовалось только некоторое отчуждение. Например, когда со сцены сухумского театра грузинский поэт Джансуг Чарквиани прочитал стихотворение, состоящее практически из одного постоянно повторяющегося слова «Иберия!» (впрочем, еще и второго – «Иберия!..»), две трети зала встретили его овацией, а треть мрачновато молчала. Ну и приехавших писателей грузинская и абхазская диаспоры делили между собой. Так, Окуджаву пытались поймать в сладкие сети своего неусыпного гостеприимства сухумские грузины, а Искандера – естественно, сухумские абхазы. У последних это получалось лучше.

Один из наиболее помпезных банкетов состоялся в плавучем ресторане «Амра», напротив знаменитого сухумского театра. Фазиля абхазские поклонники усадили за свой абхазский стол. Окуджава оказался за грузинским, рядом с ним – и опекаемый БШ я. И сидели мы как раз напротив Евтушенко, возглавлявшего Совет по грузинской литературе при СП СССР, и Вознесенского, с которым Евгений Александрович тогда решил снова подружиться.

Даже посреди самых шумных застолий, как известно, периодически наступает момент тишины. Именно в один из таких моментов уже испивший полную чашу гостеприимства Искандер встал из-за абхазского стола и дошел-таки до грузинского. Его путеводной звездой

был Окуджава. Фазиль подошел к стулу БШ, склонился над ним и со словами «Булатик! Как я тебя люблю!» приобнял барда. Потом Искандер очень медленно распрямился и сделал козу сидящим напротив Евтушенко и Вознесенскому, изрекая:

– А вы…

Он не успел доформулировать, за кого собственно их держит, когда Андрей Андреевич исчез из-за стола. Как-то так случилось: только что тут был Вознесенский и вдруг Вознесенского нет как нет (это казалось мистикой, только потом я сообразил, что за спиной Андрея Андреевича был стеклянный выход на палубу).

– Вы!.. – снова грозно изрек Фазиль.

Окуджава попытался его увести (получилось не сразу), а Евтушенко, горестно, по-бабьи подперев подбородок рукой, сказал:

– Ну ладно, я, а Андрея-то ты за что?!

На следующий день кто-то рассказал Искандеру о случившемся, но, кажется, неправильно. Потому что он, совершенно спокойно разговаривая с Евтушенко (надо сказать, умевшим прощать), все время норовил извиниться перед Вознесенским. А тот от него вместе с его ненужными извинениями бегал.

Вообще Фазилю во время этого приезда в Абхазию было тяжело. И не только от ежесекундного гостеприимства.

– Зачем я сюда приехал! – то и дело вздыхал он, сверкая персидскими очами.

– Ну как же, – банально утешал я, искренне любящий его «Сандро», – это же Ваш Мухус!

– У меня здесь все умерли…

А однажды я с гордостью убедился, что мои биоритмы полностью совпадают с биоритмами любимых прозаиков: Битова и Искандера.

С Битовым-то все выяснилось сразу же. Наши номера были рядом, и, выходя утром каждый на свой балкон, чтобы выдохнуть вчерашнее и вдохнуть полной грудью, мы всякий раз обнаруживали друг друга за аналогичным занятием.

Однажды мы вышли проделывать это уже после того, как вся делегация уехала в район на какие-то грандиозные абхазские скачки с джигитовкой.

Что делать? Мы с Битовым не стали суетиться – вышли на набережную попить кофе по-турецки. И – с радостью обнаружили там Искандера. Правда, у меня есть подозрение, что он, в отличие от нас, не проспал, а просто удрал от повышенного внимания.

Мы стояли и неспешно беседовали за кофе, как вдруг откуда ни возьмись появился громокипящий Рейн. Он в этих Днях литературы не участвовал, а, как выяснилось, непосредственно сейчас высадился с катера из Батуми.

– Я только что трахнул потрясающую буфетчицу! – прокричал Рейн, а Битов с Искандером стали вслух прикидывать, как его включить в состав делегации. Несмотря на то что Рейн тогда еще был в полуопале, это у них получилось.

В результате принимающая сторона немного пострадала: с каждого официального банкета Евгений Борисович прихватывал пару бутылок коньяка для продолжения. Эти бутылки, надо сказать, не бывали лишними во время наших послебанкетных посиделок, в которых, помимо отставших от скачек, периодически участвовали Окуджава и Чухонцев.

Беда была только в том, что в качестве тары для ворованного спиртного Рейн использовал мою холщовую наплечную сумку. Наконец я попросил Евгения Борисовича этого больше не делать – неудобно, мол. Рейн тут же согласился. Каково же было мое удивление, когда уже в самолете Сухуми – Москва я открыл свою сумку и обнаружил там бутылку коньяка…

Но если кто-то подумает, что в Абхазии мы только то и делали, что выпивали, будет не прав. Например, мы еще читали друг другу стихи и вели интеллектуальные беседы.

Так, Вознесенскому я рассказал тогда про четырехмерный шар. И его мое сообщение заинтересовало. Сам я до того, что это за зверь, додумался на семинаре по матанализу – еще в

своем родном Ижевском механическом институте. Вот – конспективное изложение моих соображений.

Пятимерный шар

Как выглядит четырехмерный шар? Представим себе, что мы всё воспринимаем только в плоскости, двумерно. Тогда любой обычный шарик голубой – это для нас круг. Причем попадает он в плоское поле нашего зрения из ниоткуда (точка – нечто, не имеющее частей), затем расширяется до своего диаметра, потом уменьшается и исчезает в никуда. Значит, шар в двумерном восприятии это пульсирующий круг. Пусть даже шар этот совсем и не движется – это мы осматриваем его в пределах доступной нам плоскости.

Отсюда вывод: четырехмерный шар в щелочке нашего трехмерного восприятия – это обычный шарик, появляющийся из ниоткуда, расширяющийся до своего диаметра, затем уменьшающийся и исчезающий в никуда. Это, конечно, если он был неподвижен, а мы его последовательно осматривали. Но мог ведь и двигаться, будучи, например, четырехмерным футбольным или баскетбольным мячом или – четырехмерным воздушным шариком. Тогда… ну тогда… уж и не знаю, где и какой величины этот шар-мяч будет появляться в нашем трехмерно воспринимаемом мире. Знаю только, откуда он будет появляться: из ниоткуда. И еще знаю, куда будет пропадать: в никуда. Он-то будет оставаться на месте или лететь в свою четырехмерную корзину, просто мы перестанем его видеть.

А еще он может быть вовсе и не шаром – любым четырехмерным предметом. Значит, если любой трехмерный предмет, на наш взгляд, движется, то он очень даже может быть неподвижным четырехмерным объектом. Или субъектом. (И может быть, время – это всего лишь форма проявления следующего измерения по отношению к воспринимаемым.) Кстати, и человек тоже, по общепринятому мнению, существо трехмерное, а между тем движется, меняет в течение земной жизни свои размеры да и появляется, в общем, из ниоткуда, как и исчезает, с материалистической точки зрения, в никуда…

Солнце вот тоже – не было, не было, вдруг появилось, движется целый день по небу и пропадает в никуда, некоторым кажется, в море село, другим – за гору, третьим – в степной ковыль. И воздушный шарик в небо улетел – исчез.

А первый резиновый мячик – сине-красный, разделенный серебряной полосой, в специальной шелковой сетке – где он?

Ну, сначала он попал мне в руки, был немедленно приближен к носу – как волшебно, дальней дорогой, пахнет новая резина! – а потом был точнехонько отправлен в ржавый обруч над сараем, изображающий баскетбольное кольцо. Обруч висел высоко – сквозь него глядело только небо, и никогда больше забросить в него мячик мне не удавалось, а удавалось этот мячик набивать об деревянный крашеный пол, о твердую и светлую летнюю землю, кидать в стену сарая и ловить, запинывать через забор на улицу Коммунаров и находить там в низкорослых зарослях ароматной, лечебной, как говорили, ромашки… Ну и где сейчас этот мячик, я спрашиваю?

А может, мы все движемся вдоль четвертой оси восхитительной системы координат и по невежеству называем эту обычную ось – ничем не отличающуюся от длины, ширины и высоты – временем?

Ну а пятое измерение – это память. Она позволяет пренебрегать линейным поступательным движением по оси времени и оказываться в самых разных ее точках.

Теперь понятно, что такое пятимерный шар?

А еще и любой вполне обычный трехмерный шар содержит в себе бесконечность. Потому что его объем – пи эр в кубе. А число пи бесконечно. Никто не знает все его знаки после запятой. Значит, и точный объем любого шара нам не известен (как, впрочем, и площадь круга). Так что перед нами такая ограниченная со всех сторон бесконечность. К тому же совершен-

ной формы. А ведь и Вселенная бесконечна, но очень может быть, что ограниченна со всех немыслимых сторон!..

Многие, послушав эти мои соображения, посмотрели бы (и смотрят?) на меня как на идиота, а вот архитектор Вознесенский понял.

Сосед Вознесенский

Много раз, приходя к нему на переделкинскую дачу, где он жил постоянно, я заставал одну и ту же картину: все плоскости его кабинета – стулья, кресла, стол, пол – были заняты рукописями, газетами, журналами, книгами. Причем заняты многослойно – как войска занимают города: не оставляя без внимания подвалы и чердаки. Всякий раз он предлагал сбросить с любого нравящегося кресла или стула все, что на нем лежит, и удобно располагаться.

И я перекладывал с возможной осторожностью все бумаги с одной поверхности на другую, но иногда они по непреклонным законам физики все же падали. Это Андрея Андреевича не смущало. Он, как в прошлом студент-архитектор, знал эти самые законы физики и частично с ними вынужден был мириться.

То есть Вознесенский безусловно исполнял завет своего учителя Пастернака:

Не надо заводить архива,
Над рукописями трястись…

А в окна его кабинета, как глаза в глаза, глядели окна пастернаковской дачи (ныне Дома-музея Бориса Леонидовича). Укора в пастернаковских окнах-глазах я ни разу не заметил.

После «кабинетного» разговора, в котором Андрея Андреевича интересовали как политические, так и – в большей степени! – эстетические новости (опять нельзя не вспомнить Пастернака: «Талант – единственная новость, / Которая всегда нова»), мы переходили в столовую. Здесь поверхность стола скрывали уже не рукописи, а сладости (до сих пор не знаю цвета столешницы). Их Вознесенский любил не меньше, чем Мандельштам. Хотя у Андрея Андреевича было больше возможностей, чем у Осипа Эмильевича, для реализации этого пристрастия. Но это не укор, это всего лишь констатация. (А еще он беззаветно любил арбузы.)

Почему в связи с Вознесенским сразу всплывает Пастернак, понятно. Учитель, первым благословивший. Но почему еще и Мандельштам? Не только же из-за общей любви к сладостям. А может быть, Вознесенский, как никто из «шестидесятников», унаследовал Серебряный век?

…В семидесятые я (кстати, вас там тоже видели) искал его книжки у фарцовщиков на Кузнецком Мосту наряду с такими же дефицитными томиками Мандельштама и Ахматовой. И какой же радостью было наконец спрятать под полу его «Тень звука» или «Взгляд», а потом, уже в метро, открыть и прочитать:

Свисаю с вагонной площадки,
прощайте,

прощай, мое лето,
пора мне,
на даче стучат топорами,
мой дом забивают дощатый,
прощайте…

Что поражало (да и поражает) в этих стихах? Прежде всего – естественность того, как все это говорится стихами, даже не говорится – выдыхается, а еще почему-то и поезд видно, и осень… И как будто ты уже сам на той вагонной площадке, и печаль твоя, извините, светла.

А несколькими строфами ниже:

«Андрей Вознесенский» – будет,
побыть бы не словом, не бульдиком,
еще на щеке твоей душной –
«Андрюшкой»…

В общем, «Осень в Сигулде» – это «Памятник» Вознесенского. И тоже – нерукотворный.

Ну вот, я увлекся одним стихотворением, а у Андрея Андреевича их на много томов.

И что касается его последних стихотворений, написанных уже во время тяжелой болезни, буквально потрясает их количество. Кажется, столько сейчас не пишет никто – не только из его ровесников, но и из племени молодых и не знакомых с вкусовыми ограничениями.

Некоторые упрекают его в исключительной холодной изобразительности в ущерб чувствам, даже называют его поэзию аберрацией зрения. Уверен, это заблуждение. Просто есть у Андрея Андреевича стихи иронические и стихи, предвосхитившие и спародировавшие современное клиповое сознание.

Вознесенский вслед за своим тезкой Синявским мог бы повторить, что у него с советской властью были разногласия стилистические. Но именно этих разногласий власть не прощает: как, с ней даже не хотят говорить на ее родном суконном языке! Возмутительно! Думаю, в этом и была главная причина, почему на знаменитой кремлевской проработке творческой интеллигенции Хрущев топал ногами именно на него, Вознесенского.

Да и «исправлялся» тот потом, написав поэму о Ленине «Лонжюмо», как-то неправильно, сплошные метафоры, а где настоящее чувство?

По гаснущим рельсам
бежит паровозик,
как будто сдвигают
застежку на «молнии»…

И т. п. (кстати, блестящий образ!)

А еще в этой поэме Вознесенский задал несколько крамольных для того времени вопросов:

– Скажите, Ленин, где победы и пробелы?
Скажите – в суете мы суть не проглядели?..
‹…›
Скажите, Ленин, в нас идея не ветшает? –

или про застрелившегося Орджоникидзе:

Что вам снится? Плотины Чирчика?
Первый трактор и кран с серьгой?
Почему вы во сне кричите,
Серго?!

Это в девяностые новоявленные демократы, только что спрятавшие свои партбилеты, улюлюкали вслед беспартийному поэту: ату его, он про Ленина поэму сочинил. А вот в семидесятые мой личный стукач Анатолий М. (с которым я познакомился «благодаря» Окуджаве – см. выше), возвращая пластинку с записью «Лонжюмо» в авторском чтении, не мог скрыть потрясения: как такое издали и почему этот Вознесенский не сидит в тюрьме или психушке.

Но Вознесенскому все же дозволили быть. В жвачно-вегетарианские брежневские времена один такой театр, как «Таганка», и один такой «авангардист», как Вознесенский, были даже нужны. Чтоб иностранным послам показывать и за границей демонстрировать советскую демократию и нерушимость прав человека в СССР. Поэтому сближение Вознесенского с «Таганкой» совсем не случайно. И дело не только в «Антимирах» и других, как сказали бы сейчас, проектах. Просто «встретились два одиночества», по крайней мере эстетических.

От этого же эстетического одиночества:

…пошли мне, Господь, второго,
чтоб не был так одинок… –

отчетливое желание Вознесенского обосновать и утвердить свою школу. И найти «второго».

> Кого только он не принимал в свою школу! Петр Вегин, Александр Ткаченко, Алексей Парщиков, Нина Искренко, Юрий Арабов, Алексей Прийма… Дошло аж до Константина Кедрова. Увы, учителя в этой школе никто не превзошел и, значит, «второй» не появился.

Не получилось. Тогда Андрей Андреич переосмыслил – в христианских координатах – значение этого «второго» и, кажется, решил, что и слава Создателю, коль не появился. Во всяком случае он написал свою вторую поэму-рок-оперу в том числе и об этом.

Ну а первая и единственная по-настоящему удавшаяся при совке рок-опера – «Юнона и Авось» – тоже, как известно, его (хотя и соавторы этого суперхита – Алексей Рыбников и Марк Захаров – дай бог каждому!).

В общем, Вознесенскому повезло: и во время он попал самое благоприятное – шестидесятые-детсадные, и если не эстетически, то хотя бы физически был в нем не один («Нас много, нас, может быть, четверо…»), и «Таганку» с Любимовым встретил, и «Ленком» с Захаровым, ну и, наверно, главное – Пастернак его благословил еще мальчишкой.

Но давайте разберемся. Хотя шестидесятые во многом «сделали» Вознесенского, он ведь тоже во многом «сделал» такие шестидесятые. И кому повезло больше от встречи: «Таганке» или ему, ему или «Ленкому» – тоже вопрос.

Что же касается подаренной в отрочестве дружбы с Пастернаком… Этот долг Андрей Андреич, по-моему, старался отдать всю жизнь. Не только пытаясь создать «школу», но и принимая у себя в Переделкине, выслушивая и даже благословляя совсем порой неумелых стихотворцев.

Он, сколько лет я был с ним знаком (а это получается тридцать пять!), всегда интересовался молодыми – прежде всего поэтами и рокерами.

Когда в 18 лет я приехал в Москву, тогдашний капитан «Алого паруса» – страницы для тинейджеров «Комсомолки», Юра Щекочихин сказал, что меня просит позвонить Вознесенский, – о, это походило на чудо!.. (Оказалось, что Андрей Андреевич регулярно интересовался у Юры, «не пошли ли маленькие».) Конечно, я тут же позвонил. С тех пор мы и стали общаться. Причем Вознесенский почему-то считал, что меня надо обязательно накормить, и чаще всего назначал встречи в ресторане ЦДЛ.

Говорили мы с ним не только о литературе. Например, его очень заинтересовала теория размытых множеств, с которой были связаны мой диплом, а потом и диссертация. Он сразу понял суть идеи и стал ее распространять на оценки поэтов и политических деятелей. Дело в том, что размытые множества предполагают, что все к ним относятся. Например, есть множество высоких людей. Но даже человек со ста пятьюдесятью сантиметрами роста к нему относится! Но – с функцией принадлежности примерно одна сотая. Вот Вознесенский и стал опре-

делять стихотворцев по функции принадлежности к множеству поэтов. У Грибачева, кажется, получилась одна миллионная (кстати, демократичный Евтушенко жаловался мне, что не может выбрать для своей антологии ни одного стихотворения Грибачева) …

А однажды как раз в этом ресторане я процитировал Андрею Андреевичу текст новой песни Гребенщикова про старика Козлодоева (БГ он тогда не знал).

Буквально через несколько дней Вознесенский позвонил мне с просьбой повторить ему цитату – он уже писал статью в «Литературку», первую, где упоминался БГ в официальном и столь авторитетном тогда издании.

А в разгар перестройки Андрея Андреевича посетила такая простая мысль: вот они-то с Евтушенко и Ахмадулиной в свое время получили возможность покорять Запад, а нынешние молодые – увы, в то же время перестройка уже открыла границы… И он поспособствовал поездке в Данию первой советской делегации, где наряду с мэтрами (кроме него были Ахмадулина и Битов, должен был поехать и Окуджава, но «поменял» себя на Юлия Кима, для которого, еще недавно опального, это была первая «загранка») присутствовали тогдашние «молодые» – Иван Жданов, Марина Кудимова, Алексей Парщиков и я. Всем нам в Дании издали книжки – первые на нерусском языке, все выступления – в театрах и университетах – вел глава делегации Вознесенский.

Так что спасибо, Андрей Андреич!

Да, именно там, в Дании, я увидел собственными глазами, как Вознесенский покоряет Европу.

Надо сказать, что наша поездка была вписана в рамки Всемирного фестиваля искусств, который открывался в Орхусе, культурной столице Датского королевства. И вот на открытии фестиваля после выступления темпераментного бурундийского ансамбля африканской песни и пляски на сцену вышел наш поэт. Весь в белом пиджаке, он воздел руки горе и почти так же громко, как били в тамтамы милые бурундийцы, прокричал: «Я – Гойя!» Датская королева тут же захлопала – то ли потому что знала Гойю с хорошей стороны, то ли была поражена неожиданным темпераментом посланца загадочной северной страны, где по улицам по колено в снегу ходят белые медведи, а за белый пиджак еще недавно могли отправить в страшную Сибирь.

В общем, у Андрея Андреича случился на родине Гамлета очередной полный успех. Которому, впрочем, чуть не помешали мы с Ахмадулиной. Дело в том, что во время выступления Вознесенского мне некстати вспомнилась эпиграмма на него Всеволода Некрасова: «Нет ты не Гойя / Ты / Другое», и я прошептал ее на ухо сидевшей рядом Белле. Она прыснула, я – тоже. В результате, как школьники из класса, мы с ней вынуждены были выбежать из зала – под осуждающим взглядом интеллигентного мужа Беллы Бориса Мессерера…

А потом мы много ездили по Дании и однажды после выступления в знаменитом музее современного искусства «Луизиана» прямо в нем остались на ночевку. Мы укладывались спать в выданные хозяевами спальники между скульптурами Генри Мура. Но спать не хотелось. Как выяснилось не только мне.

По залу бродил Вознесенский. Увидев, что я не сплю, подошел. Глядя на одну из работ Генри Мура, выдохнул: «Правда, жалко, что никогда уже не стать скульптором?!»

Да, Вознесенскому не хватало для полной самореализации (не для самовыражения – это разные вещи) одних только стихов, поэм, либретто, «прозы поэта» (вспомним его «О» и мемуарные «Мне шестнадцать лет»), он делал еще свои остроумные видеомы, иногда писал картины, придумывал архитектурные проекты… Хотя во всем прежде всего оставался поэтом.

Но как же в России умеют своих поэтов не ценить!

Сам факт публикации стихов «при совке» почему-то вывел Вознесенского (в глазах конъюнктурной литературной тусовки) из круга «премиальных» поэтов в постсоветской России.

Хотя кто как не он умел быть свободным в несвободной стране. И кто как не он прорубал своими стихами окно не только в Париж и Америку, но и в новую поэтику.

Удивительно, почему самые крупные художники не получают главных литературных премий! Толстой, Чехов и Набоков не стали нобелиатами. Вознесенский не получил ни одной современной российской премии, даже «Поэта», хотя оставался поэтом буквально до последнего дыхания. Ему отказывал голос, не двигалась рука, он постоянно падал, но Муза ему не изменяла.

Как-то, году в 1998-м, он, встретив меня в Переделкине, похвастался, что научился летать на дельтаплане: «Все-таки начать летать после шестидесяти – это интересно!» Многие последние годы он мог летать только в своем воображении. Но это у него получалось!

Пока болезнь еще щадила его, он постоянно ходил по переделкинской улице Павленко к роднику и Сетуни. Я, как сосед Андрея Андреевича по этой улице, часто встречал его во время таких прогулок. Он, смущаясь, говорил: «Вот за рифмами пошел». А однажды я нахально и глуповато сказал ему: «Вот бы вам написать еще что-то вроде», – и процитировал по памяти, как и сейчас:

Утиных крыльев переплеск.
И на тропинках заповедных
последних паутинок блеск,
последних спиц велосипедных.

Это одно из моих любимых четверостиший Вознесенского – прозрачное, как ранняя осень, совсем не эстрадное, «тихое» и теперь навсегда для меня связанное с тем прежним писательским поселком Переделкино, которого уже нет. Так что для меня переделкинские гении места не только Пастернак и Чуковский, но и Вознесенский.

Однажды я его встретил после того, как он поставил у себя первый тогда непрозрачный забор на самой коротенькой в Переделине улице Павленко. Ну я и спросил его, для чего он это сделал.

– А разве вы не знаете, Олег, что нас два раза грабили?

Я знал, причем в подробностях, например, то, что воры оказались малообразованными: они унесли всю видео- и аудиотехнику, но не тронули куда более дорогих картин.

– Так ведь этот забор не поможет, Андрей Андреич, – вздохнул я, – зато кто-нибудь напишет на нем короткое неприличное слово.

– Так и написать-то некому, – в свою очередь вздохнул Вознесенский.

– Да я и напишу! – утешительно заверил я, чтобы не разочаровывать мэтра, всегда благоволившего литературным хулиганам.

На том и разошлись.

А через некоторое время ко мне в Переделкино заскочили не чуждые постмодернизму поэты Женя Бунимович и Игорь Иртеньев. И я понял, что это шанс: наконец у меня появились два необходимых и очень правильных для такого дела свидетеля.

Словом, когда я их пошел провожать до станции, проходя мимо дачи Вознесенского, пересказал этот наш с ним разговор и, чтобы не остаться безответственным болтуном, выгравировал на заборе Андрея Андреевича это самое, в общем даже комплиментарное слово. Свидетелям этот перформанс понравился.

Дня через два я встретил Вознесенского около его калитки и повинился в содеянном. (Заветное слово было уже закрашено, но все равно проступало!) Андрей Андреич искренне смеялся. И вдруг сказал: «Мы с вами рифмуемся через Пастернака». А потом уточнил: «Нет, мы с вами такой палиндром!»

Дело в том, что я тогда немного побаловался этим словесным вышиванием и «закрыл тему», написав такой палиндром о чеченской войне:

Мама мыла раму – Умар Алым ам-ам!

Оказывается, Вознесенский прочитал единственную мою палиндромическую публикацию.

…Три или четыре раза мы вместе встречали Новый год. Происходило это в моем доме, вернее – в нашем с женой Анной. Традиционно приезжали из Питера Алексей Герман со Светланой Кармалитой (наши Дед Мороз и Снегурочка), приходили Юрий Федорович Карякин с Ириной Николаевной и оригинальными подарками, вдова любимого сына Пастернака Лени Наталья Анисимовна Пастернак, менее известные человечеству друзья и родственники. Вознесенский, тогда уже измученный неизлечимой болезнью, горячо шептал Карякину, Герману и мне то, о чем думал. Даже шутил.

Потом про эти Новые годы он написал в своих мемуарах. Правда, переместив место действия на свою дачу. Но это было даже трогательно.

После двенадцати приходил Евтушенко со своим шофером и бутылками хорошего грузинского красного сухого вина. В первые два раза почти не общался с Вознесенским – они были в ссоре. Поверхностная причина: Андрей Андреевич в одной из своих статей практически назвал Евгения Александровича эмигрантом (а тот настаивал, что только преподает в американском университете, но летом и в Новый год – всегда в Переделкине), а Евгений Александрович, по словам Вознесенского, ушел до окончания выступления и банкета в честь Андрея Андреевича в его же, Евтушенко, университете…

В этом разбираться никому не советую. Важно, что мы с женой решили их помирить. Долго капали на мозги как менее больному Евтушенко. И вдруг!.. Он написал трогательное стихотворение о своей юношеской дружбе с Вознесенским и о том, что ему этой дружбы не хватает. Вознесенский ответил менее трогательным стихотворением, в котором, в общем, признавал факт наличия Евтушенко в своей жизни и литературе. Все это я опубликовал в «Новой газете». Все умилились.

Но надо было еще свести их вместе и опять – очно – подружить.

Мы договорились и с тем и с другим. Наметили число. Кажется, в середине июня.

Евтушенко пришел весь разноцветный. В невероятно яркой атласной рубахе и экзотической кепочке. Понятно, что уже очень больной Вознесенский не мог соответствовать по яркости такому образцу.

В общем, мы сидели с Евтушенко, обсуждали разные новости и оба нервничали – Вознесенского, жившего от нас через Дом-музей Пастернака, все не было и не было.

Наконец спустя два с копейками часа Евтушенко засобирался. В общем, правильно – привезенное им хорошее вино было уже допито, а в нашем чилийском из ближнего магазина он сомневался.

Но только уехал Евтушенко, на нашем участке появились Андрей Андреевич с Зоей Борисовной (Богуславской, женой, соратницей и писательницей).

Нет, я ничего такого не подозреваю, но… Неужели откуда-то, кроме кустов, можно было наблюдать отъезд Евтушенко?

И все-таки наша вторая попытка обратно подружить Вознесенского с Евтушенко удалась. Тоже на нашей даче (она же единственный дом). Пришли как миленькие оба. Это были поминки по Толе Кобенкову, которого Евтушенко прекрасно знал, а Вознесенский только о нем слышал, пожали друг другу руки, выпили по рюмке водки… Усилия, которые мы с женой к этому прилагали, оставим за скобками. Но Евтушенко потом все время справлялся о здоровье Андрея.

А в страшном июле 2003 года Вознесенский позвонил мне с соболезнованиями. Умер Юра Щекочихин. Вернее – его отравили. Андрей Андреич знал, что мы друзья. В конце разговора он задал риторический вопрос: «Ну что, последний российский святой?» Я согласился с этим определением, потому что «святой» не значит благостный и совсем безгрешный. А вскоре Вознесенский написал стихи памяти Юрия Щекочихина:

По шляпам, по пням из велюра,
по зеркалу с рожей кривой,
под траурным солнцем июля –
отравленный сволотой,
блуждает улыбочкой Юра,
последний российский святой.

Удивительно, что Андрей Андреич еще спрашивал меня, не лишние ли здесь первые две строчки.

…Последний раз я видел Вознесенского на его последнем дне рождения – за полмесяца до смерти. Зоя Борисовна (а это середина мая и погода прекрасная) вытащила Андрея Андреевича (естественно, не без помощников) на лужайку перед домом. Мы сидели на белых пластиковых стульях, и я, видя состояние Вознесенского, старался шутить. Но первое, что сказал, наверно, было неуместно. А сказал я, что сегодня самый круглый его юбилей – 77, две семерки, типа *щастье*… Ну и т. д. И дальше пытался отвлекать его от болей, которые иногда мелькали гримасой на лице Вознесенского. Но он улыбался!

Когда я уходил, Андрей Андреевич подозвал меня и прошептал на ухо несколько хороших слов. Каких и про что, никому не расскажу. Оставлю для себя – на черный день.

Сосед по Переделкину

…последних паутинок блеск,
последних спиц велосипедных.
Андрей Вознесенский

Сердце стучало слева, а рядом – справа –
билась другая жизнь – не на жизнь, а насмерть –
и улыбалась мне, как былая слава,
та, на которую выправлен вечный паспорт.

Эта другая жизнь не давала покоя –
все-таки надо сделать что-то такое,
чтобы на равных с ней толковать с богами –
были ж мы рядом под и за облаками!

«Вот отправляюсь за рифмами», – вы говорили,
как бы оправдываясь и смущаясь явно.
Я ж уходил в другую сторону – или
в сторону от себя и от вас подавно.

А *паутинки последние* напоминали
спицы велосипедные – в точку, не спорю.

Вот бы на них уехать в дальние дали –
лучше б туда, где рифмуется с небом море…
Лучше туда, где мы бы не умирали.

Одна из его последних книг, которую он успел увидеть, – биографическая, стихи в ней, наиболее биографические, соседствуют с его эссе и мемуарами, а также со статьями о нем и интервью с ним (составила Анна Саед-Шах). Называется эта книга «Дайте мне договорить». Он просил об этом Хрущева.

В последние дни жизни к Вознесенскому вернулся голос. И в самые крайние минуты он утешал любимую Зою: «Не бойся, я же Гойя!»

Умирал он на втором этаже своей (то есть писательской) дачи в комнатке окнами на Дом-музей Пастернака.

Калитка к Пастернаку

Еще одним юным другом Пастернака был Кома (так его называли родители) Ив*а*нов, ученый с мировым именем, лингвист и семиотик, знающий более ста языков, академик Вячеслав Всеволодович Ив*а*нов.

Однажды я попытался поступить, как герой шукшинского рассказа «Срезал». Почему-то зашел разговор об эскимосах и алеутах. И тут я коварно спросил: «Ну уж алеутского-то языка вы, Вячеслав Всеволодович, небось, не знаете?»

Скромно потупившись Кома ответил, что недавно составил англо-алеутский словарь…

Как можно знать более ста языков?! Ну для этого надо, кроме уникальных способностей, в детстве не гонять собак, не играть в футбол, а читать книжки.

Что Кома и делал, так как из-за болезни в детстве был прикован к постели. Потому он и оказался одним из первых переделкинских жителей – лежать ему надо было на свежем воздухе. Вот его и определили в проходную комнатку только что полученной писательской дачи отца – Всеволода Ив*а*нова, писателя, несомненно, недооцененного.

А через эту комнатку кто только не проходил! И прежде всего – Пастернак. Он дружил с Всеволодом Ив*а*новым, а потом подружился и с умненьким Комой, с которым вел разнообразные разговоры. В результате, чтоб не делать крюк, Пастернак и Ив*а*нов прорубили в разделяющем их заборе калитку. Вот через нее они и ходили друг к другу в гости.

Но гости к Ив*а*новым приходили и другие. Например, «генсек» Союза писателей СССР Александр Фадеев или четырежды лауреат Сталинской премии Петр Павленко, именем которого потом и назвали эту самую короткую и одностороннюю улочку писательского поселка.

Этот самый писатель Павленко, ни одну книжку которого никогда никому не придет в голову прочитать, однажды подарил юному Коме куда более интересную книжку – красненькую такую, Конституция СССР называется. Не без умысла, должно быть… Бдительный был гражданин, очень интересовался реакцией интеллигенции на деяния партии и правительства. И какая разница, что Кома маленький, с Пастернаком же он вел умные беседы.

Кстати, калитка к Пастернаку «работала» и после смерти поэта. Ею, например, часто пользовалась невестка Бориса Леонидовича Наталья Анисимовна. Она приходила в гости к нам с Аней, причем летом и осенью с кабачками и тыквами с пастернаковского огорода. Их по традиции продолжают там выращивать. А Пастернак любил растить именно эти плоды, хотя как блюдо кабачки не жаловал.

То, что Борис Леонидович был умелым огородником, известно. Но я в этом убедился лично. Как-то весной я ехал в автобусе от станции к дому и услышал вот такой разговор двух женщин неопределенного возраста и внешности:

– А у Пастернак*о*в-то уже сажают!

– Ой, значит, и нам пора.

Следил местный поселковый люд за земледельческими успехами поэта и детям своим завещал!

Еще про калитку. Ее облюбовали в качестве самого простого способа посетить Дом-музей Пастернака наши собаки. Их надо представить. Главная – Мика, карельская медвежья, действительно похожая на черного медвежонка с белыми лапами, грудкой и «пробором» на умном лбу. Ее дочь Бетти, покрытая куда более жесткой шерстью и потерявшая многие признаки породы. Но обе добрейшие. А третьим в этой собачьей компании был Рыжий, приблудившийся и очень нелюдимый пес – никогда не подходил к руке. Тем не менее они все дружили, хотя вместе производили на неискушенных впечатление внушительной собачьей ОПГ. Потому и охраняли Дом-музей Пастернака успешнее любой милиции-полиции. Кстати, однажды я

наблюдал такую картинку: Мика открыла носом калитку и пропустила на облюбованную территорию Бетти и Рыжего. После чего чинно зашла сама.

Я все время задавался вопросом: почему наши собаки предпочитают участок Пастернака другому, соседнему, где тогда жил драматург Шатров, автор ленинианы, хотя в нашем общем с драматургом заборе (с противоположной стороны от пастернаковского) были огромные дыры и никаких тебе калиток, которые надо открывать собачьим влажным кожаным носом?

Сначала я думал, что наши собаки дружат домами с собакой Натальи Анисимовны. Но потом убедился, что у них не самые приятельские отношения.

И вот однажды… О это волшебное сюжетообразующее слово!

Так вот однажды мне прислали фотографию. На ней Пастернак, по-видимому, по пути от родника и Сетуни к своему дому.

Идет он по этой самой улице Павленко, которая тогда еще так не называлась и имела вполне сельский вид: с одной стороны прозрачные заборы из штакетника, с другой – высаженная писателями аллея и за ней поле с совхозной свеклой и морковкой. А за Борисом Леонидовичем бежит – Мика. Ну точно она: тот же размер, окрас, хвост знаком вопроса.

И вопрос этот повис в воздухе: неужели Мика, пусть и в предыдущем воплощении, знала Пастернака? Неужели отсюда такое трепетное отношение к его дому?

Я вот Бориса Леонидовича не знал, хотя мне о нем много рассказывали. Особенно Кома Ив*а*нов, когда мы с ним замечательно гуляли по улице Павленко. Он – с палочкой, я – с постоянным одергиванием себя, что иду слишком быстро.

Но мало ли кого я еще не знал, а по рассказам получается, что знаю лучше многих, с кем в жизни часто пересекался! Это касается, например, моего второго деда.

Верхние и нижние

Я его никогда не видел – он умер в бане от инсульта за год до моего появления на свет. Зато историй о нем я слышал столько, что, кажется, знаю его лучше всех остальных родственников. Виртуальность нашего мира проявлялась задолго до изобретения компьютеров. Так что об этом своем деде я могу немало порассказать.

Однако ограничусь вот чем.

Родился он в Буковине (хутор под Хотином) в бедной семье, однажды переплыл Днестр, оказался в Румынии и оттуда добрался до Америки. Там, в Детройте, работал на заводе Форда, очевидно испытал на себе его «потогонную систему» и, вернувшись в Россию, вступил в РСДРП. Каким ветром его занесло в Ижевск, не знаю, но здесь он построил завод (и стал первым его директором), который стоит сейчас в самом центре города и называется Мотозаводом – в целях конспирации: все знают, что в Ижевске делают мотоциклы, и пусть шпионы думают, что их делают именно на этом заводе, в то время как на мотозаводе делают… Скажу одно: от рейгановской провокации со звездными войнами пострадал прежде всего Мотозавод – здесь уже начали что-то такое звездно-военное разрабатывать, да советская экономика на этом деле надорвалась.

А еще дед какое-то время был «табачным министром» Удмуртии (сам не курил, но всегда носил портсигар с папиросами), что не избавило его семью от бедности: когда своими силами строили маленький двухэтажный деревянный дом, в котором я и родился, ели одну картошку. Ну а уж после его внезапной смерти… Моя будущая мать вынуждена была совмещать учебу в техникуме с работой, а бабушка Елизавета Николаевна продавать молоко вскормившей меня черно-белой любимицы Зорьки (потом Зорьку во время «хрущевских перегибов» со двора увели – бабушка плакала). И еще все время что-то шила на продажу.

Про незнакомого мне деда, пожалуй, вот еще что: бабушка и при жизни, и после смерти всегда называла его на «вы» и по имени-отчеству и, овдовев в 44 года, не только больше не вышла замуж, но и никогда не смотрела в сторону мужчин. Ну а на руках у нее осталось трое, моя мать старшая.

Чтоб моя бабушка не пела
тоскливых песен за шитьем,
едва за окнами темнело
и мы сидели с ней вдвоем,
чтобы тревогу мировую
не пришивала к обшлагу,
я клятву дал себе такую –
что деда воскресить смогу.
Сначала все его портреты
я увеличу, а потом
пересниму на киноленты,
чтоб двигались они. Потом
о том, какой у деда голос
был, я у бабушки спрошу,
найду другой похожий голос,
магнитофоном запишу.
И всё включу… А если этот
прием не воскресит его,
изобрету сложнее метод,

науку двину – ничего!..
Так думал я и слушал пенье
прекрасной бабушки моей…
И как я мог свое решенье
забыть среди других затей! –
благоразумьем заразиться,
обыкновеньям потакать,
как будто детскую вещицу,
бессмертье это потерять.

Воспитав троих детей без мужа, бабушка воспитала и меня, а можно сказать: меня и воспитала.

Бабушка… Сдобный запах пирожков утром по воскресеньям, поленья дров в снегу, которые она приносила с мороза и складывала у печки, но они уже пахли весной, неизменный серо-полосатый кот Васька у нее на коленях, мурлыкавший под ее рассказы о прежней жизни, постоянные приходы соседок с бытовыми просьбами, в которых она никогда никому не отказывала, шашки или домино со мной по вечерам…

А еще – наши совместные походы по магазинам. Я был, по определению моего будущего учителя Бориса Слуцкого, ребенком для очередей. Благодаря моему стоянию в очередях – в этом русском клубе 50–80-х – наша семья получала в два раза больше муки, сахара, масла… В очередях я активно общался и даже рассказывал анекдоты. На дворе стояла *оттепель*…

Однажды улыбчивый дяденька в ушанке с кожаным верхом, заинтересовавшись разговорчивым четырехлетним человеком, стал меня расспрашивать о родителях: как зовут, где и кем работают. Я подробно отвечал. А дяденька вдруг сказал, до сих пор помню дословно: «Мальчик, а вдруг я шпион? Ты вот мне все рассказал, а я передам врагам, и твоим маме и папе не поздоровится!» Конечно, после этого я всю ночь не спал и утром сказал отцу, что я предатель…

Когда пишешь о своей жизни, понятно, что таким простым способом хочешь ее хоть как-то сохранить. А зачем это иногда читают другие люди? Наверно, они в течение своей короткой жизни хотят прожить еще какие-то жизни – пусть даже чужие. Поэтому такой популярностью пользовались толстые подробные семейные романы (например, «Война и мир» или «Сага о Форсайтах»), потом – мемуары (хочется, чтоб дополнительные жизни были взаправдашними). Сейчас с этой корыстной целью смотрят сериалы, вытеснившие в сознании большинства литературу. И понятно, почему их смотрят прежде всего женщины: они самой природой настроены на продолжение-продление жизни.

А как жизнь заканчивается, я впервые увидел в том же доме, где родился.

Первым из родных и близких умер мой прадед по матери Николай Терентьевич Нефедьев. Вообще-то его фамилия была Нефедов, но он ее сменил – она казалась ему какой-то незвучной и даже туповатой.

Прадед был из мастеровых. Ходил в картузе, сатиновой косоворотке, перетянутой тонким ремешком, портках, заправленных в сапоги. Были у него добрые лучистые глаза и этакая «калининская» козлиная бородка.

Проснувшись любым летним утром и накинув распашонку, я выбегал во двор (счастье, когда без подъезда, лифта и сразу – на землю!) и заставал прадеда в его мастерской под лестницей: он или что-то строгал, или резал стекло алмазом. Я с интересом за ним наблюдал, но больше разговаривал, чем запоминал, как он обращается с инструментами. Во всяком случае ничему не научился. А стекло прадед резал нередко после того, как я стекла разбивал – почему-то всегда на втором этаже, у «верхних», то мячиком, то посредством рогатки. Прабабушка –

Клавдия Тихоновна – ругалась, подозревая, что я это делаю специально, прадед меня защищал и шел резать стекло под размер окна.

Вообще-то чаще всего прабабушка бывала права. И, увы, разбитые стекла были не единственным моим подловатым хулиганством в детстве.

Еще, например, я любил сидеть на заборе, поедать сладковатый желтый цвет акации и караулить прохожих. Как только кто-то из них, обратив на меня внимание, высказывался в том роде, что вот, мол, какой пончик сидит или, того хуже, жиромясокомбинат (был я тогда несколько упитан), я доставал доселе скрытый от посторонних глаз водяной пистолет и пускал струю в обидчика. Так как чаще всего попадал, потом приходилось спрыгивать с забора во двор и бежать куда-нибудь за сарай, где располагалось кошачье кладбище.

Да, водяной пистолет – чуть ли не единственная удачная вещь, которую я сделал собственными руками – из пневматического, стрелявшего большой резиновой пробкой.

Ну а кошачье кладбище… Вот, собственно, первые смерти, которые я увидел.

Все коты были серые в черную полоску и всех звали Васьками. Каждого последующего – в честь предыдущего. Почему они долго у нас не заживались, не знаю. Хоронил их я – зарывал навсегда на всегда сырой узкой полоске земли между сараем и забором, делал холмик и ставил крест. Конечно, ревел. И только последнего Ваську хоронить не пришлось.

С ним, еще котенком, я познакомился в магазине и упросил бабушку взять его домой. Он не отходил от меня целый день, а я с ним разговаривал. И как-то так получилось, что у нас выработался общий язык – во всяком случае он понимал, чего я от него хочу, и, поскольку любил, выполнял все мои просьбы. Например, перепрыгнуть через палочку или толкнуть лапой круглую лакированную желто-синюю китайскую батарейку для круглого фонарика.

Этот номер демонстрировался всем гостям. Я садился на стул, брал Ваську на руки, так что он тоже вроде как сидел, держа на весу передние лапы, а перед ним была выстроена целая батарея из этих самых батареек. Тогда я произносил известное только нам с Васькой слово, и он толкал лапой одну батарейку. Сколько раз я это волшебное слово произносил, столько батареек катилось по столу. Что говорить – номер пользовался неизменным громким успехом.

А моей главной детской мечтой была такая: просыпаюсь я однажды, а у моей кровати стоит Васька, как всегда принесший мне мышь поделиться, и вдруг начинает со мной говорить человеческим языком. Мне всю жизнь горько, что мой первый настоящий друг был немым.

Васька исчез незадолго до того, как наш дом снесли. Может быть, задержался по своим мужским делам, а когда вернулся – дома не обнаружил.

Конечно, я много раз приходил на родное пепелище, звал его, но мы с ним так и не встретились.

Зато Васька остался для меня вечно живым, как Ленин. А Ленина я в те годы сильно уважал и даже хотел быть похожим на него, более того – на менее значительную роль в истории человечества, чем ленинская, лично сам не был согласен. Тоже собирался переустраивать мир, чтоб сделать всех насильно счастливыми и еще – бессмертными.

Это только спустя лет пятнадцать мой другой настоящий друг Юра Щекочихин специально подгадает себе командировку в Ижевск от «Комсомолки», чтобы рассказать мне то, что недавно узнал сам: Ленин-то, оказывается, плохой, злодей не меньше Сталина…

А еще, кроме Ленина, я хотел быть милиционером.

Дело в том, что в нашем доме жил «верхний» Дядьпаша, муж бабушкиной младшей сестры Тетьшуры, и был он майором милиции, хотя вроде бы при пожарном ведомстве. У Дядьпаши была коробочка с орденами Ленина и Красного Знамени, и иногда он разрешал мне в них играть. А еще играл со мной в шашки, да так азартно, что когда проигрывал, говорил, что, мол, это он мне поддался.

Кроме того, Дядьпаша не курил и не пил, и когда мой отец Парень приходил после своей тяжелой работы зама главного технолога завода пьяным и скандалил, усмирял его и даже иногда умело связывал. Хотя Парень ни на кого не бросался.

Словом, благодаря Дядьпаше я считал милиционеров практически идеальными людьми, не только всегда все правильно делающими, но и следящими за тем, чтобы все остальные делали все так же правильно.

Каково же было мое потрясение, когда, сидя на заборе, я увидел милиционера, идущего по нашей улице Коммунаров с папироской в зубах! Поравнявшись со мной, ужасный милиционер смачно сплюнул! И этот плевок угодил не на доску деревянного тротуара – о нет! – он попал мне прямо в душу. И я передумал быть милиционером – решил стать молодым физиком-ядерщиком в белом халате, как в фильме «Девять дней одного года», да еще и бегло играющим на пианино, как хотела моя мама.

Сразу скажу: и это у меня не получилось.

Что еще не получилось? Ох, многое. Подпись: ОХ.

Но зачем перечислять? Это же интересно, только если вы захотите войти в мою жизнь и попытаться ее вместе со мной заново прожить (чего и мне-то не удалось – ни с первого, ни со второго раза).

И жизнь не столь увлекательна, как авантюрный роман, и не столь последовательно-детерминирована, как фабула греческой трагедии. И вы это чувствуете, привыкшие к сказкам как к сказкам. И точно знаете, что в жизни все немного иначе.

> Ну например, если в книжке возник некий герой, а потом куда-то исчез – это безобразие и нарушение чего-то важного для книжки и ее оценки в ваших глазах. А в жизни? Ну возник. Ну исчез. Закономерность. Ну встретился через многие годы (случайность) старым и обрюзгшим (закономерность) …А был любовником (это я обращаюсь к женщинам как основным читательницам написанного). Ну и хрен с ним – никакой «Варшавской мелодии», сама-то уже погляди: на пляже стыдно раздеться, да и внуки. И вааще!..

В общем, о том, что не получилось, не буду. Лучше – о том, что удалось.

Это должен быть конспект производственного романа. Читали же когда-то и «Цемент» Гладкова, и «Гидроцентраль» Шагинян, а тут, как мне кажется, даже веселей…

Как горел «Огонёк»

Когда Михаил Сергеевич Горбачев объявил ускорение, а затем перестройку и гласность в СССР, наверно, даже он сам не до конца понимал, к чему это приведет. А привело к тому, что ускорение, безусловно, получилось. Причем исторического процесса и во всемирно-историческом масштабе – вопреки японо-американской концепции про конец мировой истории. Нет у нее никакого конца – она ж история! Это доказал горбачевский СССР.

Что касается перестройки, тут, наверно, несмотря на многое сделанное, не хватило исторического времени – ввиду того же удавшегося ускорения.

А как получилось с гласностью, помнят все, кто ночи напролет смотрел съезды народных депутатов. (Кто не помнит, знайте: почти вся политика страны делалась на глазах телезрителей, то есть народа, если исходить из того, что он все-таки еще был, сохранился каким-то сказочным образом после всех революций, репрессий и войн.)

И была другая составляющая удавшейся гласности, – связанная со снятыми с полок фильмами, с новым талантливым и свободным телевидением, с вышедшими из андеграунда музыкантами и поэтами, с литературными публикациями всего запрещенного при советской власти, за одно чтение чего (даже за Цветаеву!) люди мотали сроки…

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.